

## Французские революционные песни с русскими словами и американские журналисты как зеркало русской революции

*Васильев К.Б., глав.ред. изд-ва «Авалонь»*  
[avalon-edit@yandex.ru](mailto:avalon-edit@yandex.ru)

**Аннотация:** Автор обращает внимание на то, что в России официально перестали отмечать Великую Октябрьскую социалистическую революции, на протяжении нескольких десятилетий считавшуюся величайшим историческим событием, тогда как во Франции до сих пор празднуют День взятия Бастилии. Революционная «Марсельеза», написанная в 1792 году, стала во Франции национальным гимном, а в России после Февральской революции 1917 года несколько раз меняли гимн, как и государственную символику. Автор приводит свидетельства двух американских журналистов, Дональда Томпсона и Джона Рида, очевидцев революционных событий 1917 года, и рассуждает о переводах и изданиях книги «Десять дней, которые потрясли мир».

**Ключевые слова:** столетие Великого Октября, «Марсельеза», государственная символика, Дональд Томпсон, Февральская революция, Чрезвычайная комиссия Временного правительства, Анна Вырубова, Джон Рид, Штурм Зимнего дворца, некрополь у Кремлёвской стены

---

1

В этом 2017 году в преддверии столетнего юбилея — сто лет прошло со дня Великой Октябрьской социалистической революции! — в преддверии, в октябре и в первых числах ноября, и особенно в седьмой день этого месяца, который связан в памяти человека, жившего в советское время, с напыщенным, многоречивым, многогласным и громогласным прославлением *величайшего события в истории человечества*, помня те торжественные заседания и собрания с выносом на сцену красных знамён под звуки фанфар, праздничный звон литавр и снова фанфары перед началом военного парада в Москве, и народные демонстрации с красными флагами и коммунистическими плакатами во всех городах Советского Союза, *от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей*, вспоминая эти торжества в честь Революции, я ловил себя на мысли или даже надолго задумывался: а почему, собственно, празднество отменили? Французы, например, отмечают день, когда в июле давнего 1789 года разбушевавшиеся толпы захватили Бастилию, во Франции до сих пор исполняется революционная «Марсельеза», по тем же нотам и с теми же словами, как их сочинил в 1792 году Клод Жозеф Руже де Лиль, а нам почему не поётся что-то одно — или «Боже, Царя храни», или «Интернационал», или гимн Советского Союза в том виде, в каком его утвердили в 1943 году?

По какой причине или по каким соображениям происходит у нас смена государственного гимна — заодно с отменой прежних государственных флагов,

девизов и лозунгов, с отречением от ранее данных торжественных клятв, присяг и обещаний? При желании можно усмотреть в этом природную тягу к обновлению, к естественному желанию отдельного человека и целого общества отряхнуться от пыли и старческой замшелости; философски рассуждая, *новое* закономерно *отрицает старое*, дабы в свою очередь *подвергнуться отрицанию*, но кажется, что движущей силой, особенно у нас в России, являются чувства людей, страстно откликающихся на призывы вождей, — вспомним хотя бы всеобщее ликование, когда *всенародно любимый* Н. С. Хрущёв объявил о скором наступлении коммунизма; эмоциональный подъём был таков, что все горы мы свернём, все реки вспять повернём и перекроем гидроэлектростанциями, врагов уничтожим атомной бомбой, пусть только сунутся, и в ближайшем времени мы полетим на Луну, потом на Марс, где у нас яблони будут цвести... В перестроечную или переломную пору восторг перемежается с неприязнью — она возникает, развивается, а то и вспыхивает порохом, перерастая в горячую ненависть к тому, что раньше *всем сердцем* любилось, но как будто не оправдало наших ожиданий: где же обещанный коммунизм и яблони на Марсе? — и к тем, кого *всенародно* славил: зачем же мы перед ним или перед ними холопски пресмыкались? Смена декораций вызвана, как будто, необходимостью, но с какой страстью она происходит!

Смена вкусов, мода на новые одежды или мелодии — явление вечное и естественное; в моду входит по каким-то причинам покррой или причёска, иногда весьма вычурные, публикой овладевает страстное желание по-новому наряжаться и новым способом укладывать волосы на голове; публика прямо-таки влюбляется в некоторые песни, готова слушать их снова и снова, но по прошествии времени она приходит в восторг, а то и в неистовство, от других ритмов и мелодий, перед которыми прежняя любовь тускнеет. В случае с государственным гимном и другими *святынями* неловко искать объяснения в капризах моды; так или иначе, виноваты ли капризы или необходимость, мы наблюдаем, что *святыни* в России недолговечны и уж точно не вечны: смена государственного строя, режима или всего лишь руководства в Кремле влечёт за собой переделку или гимна в целом или каких-то слов в гимне, из справочников вычёркивают или, наоборот, в справочники вносят ранее вымаранные имена, историю переписывают, какие-то документы рассекречивают, другие засекречивают, на нашей памяти были сдвинуты в утиль печатные труды коммунистических идеологов, которыми десятки лет нагружались (я чуть не сказал *захламлялись*) полки книжных магазинов, и вместе с этими пустопорожними писаниями, прежде обязательными к изучению, исчезли советские плакаты и воззвания, которыми раньше в обязательном порядке обвешивались все дома и улицы. Моё поколение стало свидетелем нескольких кардинальных *отрицаний* того, во что вся страна ранее *свято верила*, вспомним для примера посмертное ниспровержение Сталина: после обвинений в культе личности его тело вынесли из Мавзолея, и *от Москвы до самых до окраин* снесли его статуи, и для учебных заведений были написаны новые учебники истории. Ниспровергалось то, что называли вечным и провозглашали незыблемым... Нерушимым! — как пелось в гимне, который пришёл на смену «Интернационала» (до того считавшегося незаменимой вдохновляющей опорой в борьбе за *счастье всего человечества*):

Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки Великая Русь!

*Навеки*, как мы знаем, не получилось, поэтому эти слова из гимна убрали. Тогда как французы... Я забыл упомянуть, что «Марсельеза» является не просто старинной революционной песней, она — государственный гимн Французской республики, и в силу этого звучит на всех официальных мероприятиях и всенародных торжествах. Люди, разбирающиеся в нотах и обладающие развитым эстетическим чувством, могут, очевидно, порассуждать и определить, имеет ли «Марсельеза» музыкальные достоинства, обеспечившие ей столь долгую жизнь, или её существование искусственно поддерживается *из принципа*, по политическим соображениям. Люди сведущие выскажут также обоснованное мнение, насколько мелодия и слова в означенном музыкальном произведении соответствуют друг другу, или, скажем так, гармонируют. Моё суждение основывается только на ощущении. Как-то я слушал «Марсельезу» в исполнении Мирей Матьё; красивый голос замечательной певицы вроде бы располагал к приятному прослушиванию, но у меня что-то вызывало отторжение. Уместна ли сегодня песня, сложенная и, в общем, прославляющая тот период, когда множество людей было вовлечено в уничтожение себе подобных, когда стали дозволенными мстительные расправы и бессудные казни, нужна ли она в наши дни, когда человеческая жизнь провозглашена важнейшей ценностью современного общества? Если уж музыка такая чудесная, к которой народ душой и сердцем прирос, — подумал я, — пусть бы она оставалась, но почему французы, в отличие от нас, за прошедшие двести лет не переписали слова, не *обновили* текст? Лично я чувствовал какую-то неловкость: женщина с приятной внешностью, ухоженная, изысканно одетая, со страстью призывала:

Отречёмся от старого мира,  
Отряхнём его прах с наших ног...

Следующие слова особенно коробят — меня, а не французов, и не сторонников коммунизма, хотя подобные призывы в наше *толерантное* время вроде как противоречат щепетильной заботе о правах и свободе человеческой личности — вне зависимости от достатка этой личности, социального положения, цвета кожи и исповедания:

На врагов, на собак на богатых,  
И на злого вампира-царя,  
Бей, руби их, злодеев проклятых,  
Заблести, новой жизни заря!

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Получается, мы в России меняемся сильнее и быстрее, чем другие? Во Франции назвали большим историческим событием штурм Бастилии — уличные беспорядки, когда простолюдины, смелая и не встречая сопротивления, захватили парижскую тюрьму, в которой, насколько я знаю, простолюдины не содержались; толпа кинулась на то, что мозолило глаза и, скажем так, подвернулось на пути; сделав этот день национальным праздником, французы ежегодно отмечают его военным парадом, красочным салютом и, я позволю себе ещё один повтор, они по-прежнему исполняют «Марсельезу», песню из 1792 года, возведённую в государственный гимн. Штурм Зимнего дворца в Петрограде 25 октября 1917 года был более серьёзным и решительным деянием, он имел куда большее историческое значение; на протяжении нескольких десятилетий мы в нашем Отечестве отмечали свой *главный праздник* с куда большим размахом, нежели французы, считая все предыдущие народные восстания и перевороты, включая Великую французскую революцию, лишь *предтечами* Великого Октября; но вот то ли в одночасье, то ли исподволь, но как-то без особого шума и усилий празднование упразднили, сделав 7 ноября обычным рабочим днём. Взамен, чего уж тут обижаться, нам придумали другой праздник, обосновав его соответствующими историческими разысканиями, объяснив идеологическую пользу и обставив красочными зрелищами. Вопрос, по большому счёту, не в том, какие песни петь и слушать в ту или иную дату, утверждённую как праздничный, нерабочий день, вопрос, конечно, в другом: если Великий Октябрь не стоил того, зачем мы семьдесят лет прославляли его, зачем превозносили тех, кто Октябрьскую социалистическую революцию совершил? Или, иными словами: если в нашей истории было такое значимое, *переломное* событие, наш народ от чего-то освободившее, почему бы и дальше его не отмечать? По каким причинам мы *стушевались*, как сказал бы Ф. М. Достоевский, и вроде как даже застеснялись? Французы не стесняются, на их гербе по-прежнему читаются три слова: *liberté, égalité, fraternité*, три отвлечённых существительных, обозначающих абстрактные понятия, — сужу как филолог, а человек с философским складом ума скажет уверенно, что понятия о свободе, равенстве и братстве субъективны, в полной мере ни первое, ни второе, ни третье природой не предусмотрено и в человеческом обществе неосуществимо...

При советской власти величальным хором воспевался *Союз нерушимый республик свободных*; в русле политических перестроек и переделок, проникшись *новым мышлением*, которое сосуществовало с поспешным захватом государственной собственности и яростным *переделом сфер влияния*, в 1990 году мы круто и решительно отказались от этого величания и вернули из эпохи *проклятого царизма* «Патриотическую песню» М. И. Глинки, утвердив её государственным гимном; сегодня опять звучит гимн коммунистических времён, хорошо знакомый моему и предыдущим поколениям, только текст подправлен с учётом очередного *нового мышления*: про свободные республики с их нерушимым союзом убрали, поставив во главу угла свободу всего Отечества. В первой редакции единство и нерушимость Советского Союза обеспечивалось руководящей ролью всенародно любимых вождей:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,  
И Ленин великий нам путь озарил:  
Нас вырастил Сталин — на верность народу,  
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Теперь же объявлено, что мы Богом хранимы. Как будто мы в России боимся остаться без защиты: то нам нужна отеческая забота царя, то *народных* вождей, прибегавших периодически к ежовым рукавицам и кнуту, теперь возложили упования на Иегову — вернулись к нему, как древние иудеи, время от времени сбивавшиеся на *служение ваалам*, возвращались к *Богу истинному*. Когда я ходил в школу, нас, пионеров, затем комсомольцев, на уроках пения заставляли разучивать песни про то, что Ленин *и теперь живее всех живых*, и про то, что *близится эра светлых годов*, и каждому советскому человеку вменялось быть воинствующим атеистом; времена изменились, и, меняясь вместе с ними, нынешнее российское общество, включая его пастырей, светских и духовных, видимо, серьёзно считает, что стихи (весьма посредственные) государственного гимна способствуют воспитанию нынешних российских детей и подростков в духе патриотизма и православия:

От южных морей до полярного края  
Раскинулись наши леса и поля.  
Одна ты на свете! Одна ты такая —  
Хранимая Богом родная земля!

3

Пишут, что «Марсельеза», знакомая и популярная в России среди революционеров всякого рода и звания до 1917 года, успела побыть некоторое время и российским гимном, то ли официально утверждённым, то ли *общепризнанным*. Николай II отрёкся от престола, и вместе с отменой монархического правления упразднили гимн, русских монархов прославляющий; после Февральской революции именно «Марсельезу» исполняли на официальных мероприятиях Временного правительства, не говоря уже о митингах и манифестациях. Не знаю, как другим, мне, в очередной раз, становится неловко, когда я представляю Е. Г. Львова, по происхождению аристократа и по политическим взглядам *прогрессиста*, как он, министр-председатель в означенном правительстве, выпевает вместе с сослуживцами призывы *бить и рубить злодеев проклятых* ради того, чтобы *заблестела новой жизни заря*.

Поэты, не все, конечно, а те, которые обладают природным талантом, и одарённые литераторы скажут порой коротко и ярко о времени или явлении, на освещение которого историки испишут десятки страниц, ссылаясь то и дело на других историков. Мне кажется очень верным свидетельство Сергея Есенина о состоянии русского общества после свержения царя:

Свобода взметнулась неистово.  
И в розово-смердном огне  
Тогда над страной калифствовал  
Керенский на белом коне.  
Война *до конца, до победы*.  
И ту же сермяжную рать  
Прохвосты и дармоеды  
Сгоняли на фронт умирать...

Свобода именно взметнулась, захлестнула, отбила разум; Керенский оказался именно *калифом на час* (как и Львов, *прогрессист*, не сумевший сделать ничего прогрессивного в наступившей смуте). Боевые действия на фронте с переходом на республиканское государственное устройство не стали менее кровопролитными; зная историю, хочется добавить, что большевики, утверждавшие, что они в корне против войны, что они за *мир во всём мире*, не распустили *сермяжную рать* по домам, и вместо *защиты Отечества* завязалась война гражданская, результатом которой стало значительное сокращение русского населения на шестой части земной суши со всеми её лесами и полями, прославляемыми в нынешнем государственном гимне. Лесам и полям всё равно, кто ими владеет, и чьими пограничными знаками они обнесены; сегодня мы разводим руками и, *считая по осени* оставшихся цыплят, то есть, население Российской Федерации, сократившееся из-за долгой борьбы *за светлые идеалы Октября*, мы предпринимаем судорожные и обречённые на неуспех меры, как бы увеличить рождаемость, и как заселить *своими* людьми эти бескрайние русские просторы, пока они не стали принадлежностью других народов, более плодovitых и не обременённых думами, кто в очередной раз виноват и что нам делать дальше, думами и мечтаниями о *светлом будущем*, где отменяют деньги, и мы полетим на Марс сажать там яблони.

4

Меня могут уличить в неточностях или даже обвинить в намеренной подтасовке. Во-первых, я не мог слышать в нашем государственном гимне слов про Сталина. Согласен, я их не слышал, я вычитал в справочниках, что они присутствовали в тексте с 1943 по 1956 год; после того, как на Девятнадцатом съезде КПСС сталинский культ личности подвергся осуждению, эти слова убрали: если раньше подобострастно выпевалось, что *нас вырастил Сталин* — вырастил и *вдохновил на труд и на подвиги*, в новой редакции вдохновение на подвиги и труд шло от Ленина, поднявшего народы *на правое дело*. Не спорю: безграничное преклонение перед Сталиным и почитание двух народных вождей заменили на преклонение только перед Лениным, а теперь заменили на преклонение перед Иеговой... Об этом и речь: нельзя ли придумать гимн, рассчитанный на все времена и правления, без политических и религиозных предпочтений?

Во-вторых, по поводу «Марсельезы», в том числе в исполнении Мирей Матьё: мне не понравилось, что она как бы натравливает слушателей на богатых, называя их

собаками, призывает бить их и рубить... Спешу согласиться: во французском подлиннике настолько скверных слов нет, там, в основном, выпады против внешних врагов, *чужеземных когорт*, собравшихся восстановить во Франции монархию, присутствуют угрозы, но без площадной ругани: трепещите, тираны и предатели; в своих стихах Клод де Лиль обращается к Свободе: бейся вместе с нами, твоими защитниками; одновременно поэт призывает в свидетели Бога — неужели тот допустит, чтобы... Французский текст, довольно тяжеловесный по лексике и синтаксису, особых литературных достоинств, на мой взгляд, не имеющий, переводился несколько раз на русский язык; предлагаю для примера послушать отрывок из перевода, выполненного М. И. Венюковым:

Великий бог!.. Скуют нам длани  
И под ярмо поставят вновь,  
Чтобы зачинщик этой брани  
Мог вновь сосать народа кровь?!

Французская песня почиталась русскими революционерами нескольких поколений, начиная с декабристов — тех, чей *круг был узок*, которые *были страшно далеки от народа*. Далёкие от народа, они вполне удовольствовались подлинником, но через полстолетия к революционному движению пристали (а то и прилепились, не найдя своё место в жизни и не имея склонности к полезной работе) люди разных сословий и мастей, им приглянулась «Новая песня» — скверные стихи, сочинённые народником П. Л. Лавровым; пренебрегая переводами, революционеры из разночинцев стали распевать лавровские вирши под музыку «Марсельезы»...

Кому-то не понравится: автор очерка уничижительно высказывается о П. Л. Лаврове, тогда как Пётр Лаврович — известный философ и историк; выходец из дворян, он посвятил свою жизнь делу освобождения России, его арестовывали и ссылали за революционные убеждения, он был всецело за народ, о чём сказано, кстати, и в его «Новой песне»:

Мы пойдём в ряды страждущих братьев,  
Мы к голодному люду пойдём...

Если кого-то сажали в тюрьму, отправляли на каторгу или даже вешали *за идею*, из этого не вытекает, что идея велика и благородна... Не буду вступать в полемику по поводу личности названного *ходока в народ*; по-моему, настоящему философу никогда не придут в голову те рифмы, которыми разразился Лавров, обуреваемый, похоже, какими-то мстительными побуждениями; и если у философа даже возникнет желание высказаться резко против существующего строя или властей, он не станет, исходя из своего недовольства, подбивать толпу к бесчинствам и провоцировать беспощадные расправы, как сделал Лавров, опубликовав в 1875 году своё рифмованное воззвание в собственном пропагандистском издании с однозначно революционным названием «Вперёд» (правда, без подписи, что некоторые объясняют большой скромностью автора). Что касается нелестного отзыва, будто вирши Лаврова скверные, — а это не

моя оценка, боюсь, что лично я не удержался бы от совсем непечатных выражений в адрес автора и его «Новой песни»; это мнение А. А. Блока: в декабре 1919 года он высказал свои соображения по поводу планов А. М. Горького издать избранные произведения русских классиков; касаясь русской поэзии, Блок пишет: «Есть, наконец, прескверные стихи, корнями вросшие в русское сердце; не вырвешь иначе, как с кровью, плещеевского *Вперёд без страха и сомненья*, лавровского *Отречёмся от старого мира...*»

Приглянулись, нет, пришли по сердцу или, как выразился Блок, *вросли в русское сердце*, а не подверглись осмыслению, вирши петрашевца Плещеева и народника Лаврова, бунтарские вирши, в которых слышатся разбойничьи нотки; и точно так, за разбойничьи нотки, пришли по нраву русским революционерам и бунтарям (я чуть не добавил *разбойникам*) скверные, но боевитые стихи французского анархиста Эжена Потье (их пели сначала на музыку «Марсельезы», позже сочинили для них свои ноты):

Довольно кровь сосать, вампиры,  
Тюрьмой, налогом, нищетой!  
У вас — вся власть, все блага мира,  
А наше право — звук пустой!  
Мы жизнь построим по-иному —  
И вот наш лозунг боевой:  
Вся власть народу трудовому!  
А дармоедов всех долой!

В Петербурге есть Фурштатская улица; в период, когда *город трёх революций* именовался Ленинградом, она носила имя Петра Лаврова, *одного из идеологов революционного народничества*, чьи «Исторические письма», как сообщает Советский энциклопедический словарь (1981), *пользовались большой популярностью среди революционной молодёжи*. В том же районе (то ли Дзержинском, то ли Куйбышевском или Смольнинском — уже не помню), прилегающем к Литейному проспекту, в советские годы была улица Каляева; революционер И. П. Каляев удостоился чести *быть увековеченным* за то, что в 1905 году убил великого князя Сергея Александровича. Литейный, проложенный от Литейного моста до Невского проспекта, в 1918 году стал проспектом Володарского и носил имя указанного *пламенного революционера* до 1944 года... Перечисляя эти имена, я вспомнил высказывание Ф. М. Достоевского: «Мы надевали лавровые венки на вшивые головы». Кто-то согласится — не со мной, с Достоевским, кому-то не понравятся эти нелестные слова применительно к перечисленным участникам русского революционного движения; но все, надеюсь, согласятся, что переименования улиц и городов связаны с темой очерка: мы находим нужным менять время от времени и государственный гимн, и всю государственную *символику*, и названия улиц в городах, как и названия самих городов, и менять довольно часто. Нужно ли мне сообщать, думаю, и так понятно, что во французских поселениях и сегодня есть улицы, названные в честь Робеспьера, Дантона, Марата... Года три назад городские власти Марселя решили было переименовать площадь



Робеспьера — я не стал вникать в соображения чиновников и докапываться, какое другое название они предлагали, я отметил только бурный протест общественности. Общественность была против. Она требовала не уничтожать память (буквально, *не стирать следы*) Французской революции: «*Ne touchez pas à la Place Robespierre à Marseille! N'effacez pas les traces de la Révolution Française!*»

## 5

Пётр Лавров, автор *русской Марсельезы*, умер в 1901 году в Париже. Он призывал народ к революционной борьбе и ещё в 1852 году пророчествовал:

Настанет торжество свободы и добра...  
А вы, цари земли! вы, пастыри народа!  
Падучею звездой промчится ваша власть,  
И вам проклятие прейдёт из рода в роды!  
Спешите выситься, чтобы страшней упасть!  
Готовьтесь! скоро вас настигнет наказание:  
Придут к вам мстители потребовать ответ...

В 1917 году *мстители* пришли; что если бы они, свергнув русского *пастыря народа*, а потом и *временщиков* во главе со Львовым и Керенским, явились бы и к нему, Лаврову? Они постучали бы настойчиво в дверь его квартиры и стали бы делать обыск, что бы тогда думал, говорил (может быть, лепетал в испуге от винтовок и штыков) благородный Пётр Лаврович?

В известной книге «Десять дней, которые потрясли мир» есть сцена с обыском на квартире Г. В. Плеханова, другого русского *философа*, задумавшему *освобождение труда*; полагаю, нечто подобное мог пережить и Лавров, пожиная, так сказать, плоды восторжествовавших *свободы и добра*... Джон Рид, американский журналист, автор указанной книги, пишет — в своих примечаниях к основному тексту, под заголовком «События в Царском Селе» (события имели место в конце октября 1917 года):

«Вечером, когда войска Керенского отступили из Царского Села, несколько священников организовали крестный ход по улицам, причём обращались к гражданам с речами и уговаривали их поддерживать законную власть, то есть Временное правительство. Когда казаки очистили город и на улицах появились первые красногвардейцы, то, по рассказам очевидцев, священники стали возбуждать народ против Советов, произнося соответствующие речи на могиле Распутина, находящейся за императорским дворцом. Один из этих священников, отец Иван Кучуров, был арестован и расстрелян раздражёнными красногвардейцами.

В самый момент вступления Красной Гвардии в город кто-то перерезал провода электрического освещения, так что улицы сразу погрузились в полный мрак. Директор электрической станции Любович был арестован советскими войсками. Его спросили, не он ли перерезал провода. Через некоторое время он был найден в той самой комнате, где был арестован. В руке у него был револьвер, а на виске — пулевая рана.

На следующий день петроградские антибольшевистские газеты вышли с заголовком: «У Плеханова температура 39°». Плеханов жил в Царском Селе и лежал в постели больной. Красногвардейцы вошли в его дом, сделали обыск (искали оружие) и допросили старика.

— К какому классу общества вы принадлежите? — спросили они его.

— Я революционер и ещё сорок лет тому назад посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу, — отвечал Плеханов.

— Всё равно, — заявил рабочий, — теперь вы продались буржуазии.

Рабочие уже не знали пионера российской социал-демократии Плеханова!»

6

По поводу священника, убитого *раздражёнными* красногвардейцами: в американском подлиннике напечатано *Ivan Kutchurov*. Сверившись с русскими источниками, мы уточняем, что правильно *Кочуров*, идёт речь об Иване Александровиче Кочурове, погибшем 31 октября (13 ноября по новому стилю) 1917 года в Царском Селе.

Считаю такие неточности несущественными в произведении *иностранного* автора, записывавшего, запоминавшего многое на слух, в основном, на ходу, часто в спешке, в суматохе и неразберихе. Хуже, что в русском издании «Десяти дней» встречается довольно много ошибок, допущенных переводчиком и не исправленных редактором. Ошибок и, скажем так, *шероховатостей*, как например, в сообщении о том, что *казаки очистили город*. От кого очистили, от войск Керенского? Нет, казаки в том бою за Царское Село были на его стороне. Образованный читатель правильно поймёт, учитывая смысл всего повествования и помня примеры из художественной литературы, когда тех или иных жильцов, квартирантов просили *очистить помещение*, то есть съехать с занимаемой жилплощади. Но основное значение глагола *очищать* всё-таки *делать чистым*. Конечно, читателю не придёт в голову мысль, будто казаки вдруг занялись уборкой мусора с царскосельских улиц, здесь следует вспомнить другое значение глагола *очистить* — мы выписываем его из Малого академического словаря: *освободить от присутствия кого-л., чего-л. враждебного, нежелательного, постороннего*. Пример, взятый составителями словаря из романа «Тихий Дон», удачно подтверждает наши рассуждения: «В течение дня левобережье Дона на протяжении более чем полутора часа вёрст было очищено от белых». У Джона Рида написано просто и понятно: *the Cossacks had retreated*, что однозначно указывает на их уход из Царского Села, они, на тот момент сторонники Временного правительства, оставили, покинули город, они *отступили*.

Красногвардейцы у Джона Рида *разъярённые* (infuriated), что далеко не то же самое, что *раздражённые*. Придя в ярость, в бешенство, они убивают священника: «One of the priests, Father Ivan Kutchurov, was arrested and shot by the infuriated Red Guards». Смерть инженера Любовича объясняется автором короче и жёстче, нежели в переводе: ему при аресте было предъявлено обвинение в том, что он отключил свет в городе. Обратимся к подлиннику: «Lubovitch was arrested by the Soviet troops and asked why he had shut off the lights». Красногвардейцы, вовсе не *раздражённые*, как мы теперь

знаем, а *взбешённые*, добивались от Любовича: зачем он это сделал? В русском издании — вежливое предположение: «Не он ли перерезал провода». Какие провода? У Джона Рида нет ничего о проводах, которые кто-то, может быть, Любович, *перерезал*; инженер, находясь в Дворцовой электростанции, имел возможность просто повернуть рубильник, он *выключил свет* по всему городу.

Мы прочитали дважды по поводу Любовича: *был арестован*. Если обратиться к подлиннику, начальника Дворцовой электростанции нашли мёртвым в комнате, где он содержался под стражей, куда его *посадили*: «He was found some time later in the room where he *had been imprisoned* with a revolver in his hand and a bullet hole in his temple». У русского читателя возникают предположения и остаются сомнения: то ли арестованный сам покончил с собой, то ли, может быть, с ним расправились? Если принимать во внимание, что человек не просто задержан, но находился в заключении (*imprisoned*), под замком, под стражей, у него не могло быть при себе револьвера, да и был ли вообще вооружён инженер-электрик? Любовича застрелили те же *раздражённые* красногвардейцы, они вложили ему в руку револьвер, обставив незатейливо его смерть как самоубийство.

Советский издатель «Десяти дней» то ли привлёк к работе неопытного переводчика, то ли они общими усилиями (издатель, редакторы и переводчик) подправляли и подлаживали рассказ американского журналиста под какие-то, нам не понятные *установки*, сглаживая *острые углы*.

В подлиннике Плеханов сообщает людям, явившимся обыскивать его квартиру, что он отдал сорок лет жизни борьбе за свободу: «I am a revolutionist <...> who for forty years has devoted his life to the struggle for liberty». Перечитаем перевод, где *сорок лет тому назад* Плеханов посвятил свою жизнь... Он решил отдать всю свою жизнь борьбе. Значит ли это, что, приняв решение, он действительно боролся? Может, он через пару лет передумал и от дальнейшей борьбы за свободу отказался... Не знаю, как другим читателям, мне показалось, что перевод зачитанного отрывка выполнен неуклюже и не вполне передаёт мысль оригинала.

## 7

Задумавшись, по каким причинам, исходя из каких соображений во Франции не считают нужным зачеркнуть или забыть жестокие события двухсотлетней давности... Точнее, так: почему французы до сих пор празднуют начало тех событий, штурм Бастилии, почему сохраняют в качестве гимна революционную песню, сложенную в 1792 году, в отличие от нас, переставших отмечать Великую Октябрьскую социалистическую революцию и петь «Интернационал»? — задав себе эти вопросы, я не смог дать разумных ответов.

Некоторые прямолинейные ответы и объяснения — не по поводу гимнов и праздников, а по поводу русских революционных событий я нашёл у Дональда Томпсона, американского журналиста, который по воле случая стал свидетелем Февральской революции. Не буду выставлять американца оракулом, вещающим правду и только правду, не стану называть его точным и беспристрастным историком или мудрецом, сумевшим проникнуть в суть всего, увиденного в России; с его

объяснениями не всегда соглашаешься, как например, с категорическим утверждением Томпсона, будто немецкие деньги и происки сыграли решающую роль в разложении русской армии во время Первой мировой войны, но предлагаю всё-таки выслушать свидетельство человека, писавшего о том, что он видел в России своими глазами, — тем более, что к его показаниям, если я не ошибаюсь, не обращался ни один исследователь в России.

## 8

Журналистов, *освещавших* события Первой мировой войны, было немало, как в России, так и в других воюющих странах. Некоторые из них никогда не выезжали на фронт, другие, выезжая, предпочитали собирать сведения о боях и потерях на безопасном расстоянии от передовой. Особо выделяются те, кто, рискуя жизнью, лезли в самое пекло, желая увидеть всё собственными глазами, увидеть и, как в случае с Дональдом Томпсоном, американским газетчиком, ещё и *запечатлеть* на плёнке, используя фотоаппарат или кинокамеру... Первый раз Томпсон, уже набравшийся впечатлений в боях за бельгийские города, оказался в России зимой 1915 года; мы находим его в Карпатах, мы слышим размышления иностранного журналиста о том, что русские могли бы давно победить, но почему-то не побеждают: «Прибыв на фронт и увидев огромные массы солдат, я ожидал, что через несколько недель вслед за армией войду в Берлин. <...> Там, похоже, были миллионы солдат, и я не мог понять, почему они не отбросят немецкую армию и не двинутся, куда им заблагорассудится».

Томпсон задал свой простой вопрос — почему русские ещё не взяли Берлин? — офицеру казачьего полка. Тот ответил, что «Их генералы подкуплены, боеприпасы идут не туда, куда надо, и, как следствие, они теряют тысячи солдат в неудачных сражениях».

Офицер поделился с Томпсоном своими соображениями: большая ошибка в том, что в самом начале войны власти не *упрятали за решётку* немцев, живущих в России. Немцы, будучи русскими подданными, сохраняли германское гражданство; в Петрограде они, имея большие деньги, подкупали, кого считали нужным. Американец Томпсон услышал от русского офицера о *немецких происках* и *немецких деньгах*. То, что он видел, как будто подтверждало существование и первого и второго: «Когда поступали боеприпасы на один участок, оказывалось, что снаряды не подходят к пушкам, а нужные для этого фронта снаряды были отправлены куда-то в другое место, где пушкам не годились. <...> Я видел, как воюет русский солдат, и он показался мне таким же смелым, как любой другой солдат в Европе. <...> Я побывал на нескольких фронтах, и везде наблюдал те же опасения, что немецкие происки в один день разрушат все, чего удалось достичь за несколько месяцев упорных боев».

По прошествии целого столетия хочется сказать, вспомнив Крымскую и Русско-японскую войны, что причиной поражений были безалаберность, привычка полагаться не на умение воевать, а на численное превосходство русской армии, следует учесть и неоправданную бравату, когда, ещё до начала боевых действий, русские военные хвалились *закидать шапками* противника, но в данном случае *немецкие происки* придётся признать; например, Зинаида Гиппиус считала *достоверным фактом*

следующее: «В Петербурге имелаась очень серьёзная немецкая организация — из русских состоящая. Люди достаточно тонкие, чтобы употребить на пользу и Распутина. Они ничего у него не просили; это были только верные товарищи и участники грандиозно безобразных его кутежей. Сами даже задавали сутками длящиеся кутежи, иногда прямо *в честь* Распутина. И *собутельники* эти уж, конечно, умели узнавать от Распутина всё, что знал он. Треть его речей была чепухой, треть бахвальством, но треть, случалось, шла на пользу: в последние годы царица не устаёт спрашивать царя о военных (секретных) планах и намерениях *для нашего Друга, который может помочь*, не устаёт повторять: Говори с Ним откровеннее обо всем...»

Я намеренно привёл пример из тех воспоминаний Зинаиды Гиппиус, где есть очерк «Маленький Анин домик». *Аня* — Анна Вырубова, жившая в Царском Селе; императрица, возомнившая себя умелым государственным деятелем, ходила к Вырубовой, где встречалась с Распутиным: «Свиданья происходили не во дворце, а в *маленьком домике* — у Ани. <...> Этот *маленький домик* вблизи Царскосельского Дворца должен быть отмечен историей. Там писался четвёртый акт русской трагедии. Там заседало последнее самодержавное правительство». Но, по мнению Гиппиус, не было причин обвинять Распутина или императрицу в пособничестве военному противнику: «Все рассказы о немецких симпатиях Распутина (не говорю уж царицы) — совершенный вздор. Он видел в победе прямое благо для себя, — как же не желать её?»

Немецкие происки и шпионаж, неизбежные во время войны, сыграли меньшую растлевающую роль, чем вмешательство Распутина, по подсказке которого императрица то боролась за смещение главнокомандующего, то за смену премьер-министра. Деятельность Анны Вырубовой, погрузившейся с удовольствием и страстью в *государственные дела*, по мнению Гиппиус, была *страшной и непоправимой*. Американец Дональд Томпсон пишет, что русские солдаты гибли и умирали в лазаретах из-за *немецких происков*, а Гиппиус, признававшая существование немецких шпионов, пособников и денег, видя, как по Петрограду шли войска, направляемые на фронт, думала: «Люди текут, идут умирать... за родину? Пусть они думают, что за родину. Или пусть ничего не думают. Потому что вот эти, сейчас проходящие, сейчас поющие, пойдут в огонь — за Гришкину привольную и почётную жизнь. И тогда пойдут, когда ничего не знающему, ни аза не понимающему Гришке взбредёт в голову приказать наступление...»

Показания Зинаиды Гиппиус можно посчитать предвзятыми и продиктованными личной неприязнью; здесь следует отметить, что она в какие-то моменты обдумывает сказанное и сама признаётся: «Я знаю, что преувеличиваю.» По поводу *страшного и непоправимого вреда* она, обвинив Вырубову, понимает, что та лично никаких *непоправимых* решений не принимала. Страшное и непоправимое само *сделалось*. Тем самым как будто признается *фатальность* всего, произошедшего в России за время войны и двух революций 1917 года. Сегодня нам кажется, что, имея множество сведений об *устоявшемся* периоде столетней давности, мы можем дать ясные и даже *научные* объяснения, но у нас не получается; по крайней мере, нет никакого единства в мнениях и оценках, а что-то совсем не поддаётся разумению... О *фатальности* говорить в наши дни как-то и неловко, но всё же предлагаю прислушаться ещё раз к

рассуждениям Льва Толстого: «Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее».

9

Второй раз Дональд Томпсон приехал в Россию в 1917 году, в конце февраля, снова как корреспондент: в Соединённых Штатах шли споры о том, вступать или не вступать в *европейскую* войну, и общественность, как и официальные круги, хотели знать, каково положение на Восточном фронте. В Петрограде голод, объяснение Томпсон слышит знакомое: из-за *немецких происков* плохо работает транспорт, доставляющий продукты в столицу. Но с боеприпасами, вроде бы, стало лучше, русские офицеры бодро говорят о готовящемся весеннем наступлении. Американский журналист собирался выехать в действующую армию... И неожиданно становится свидетелем Февральской революции. Для него она мартовская: пользуясь привычным для него календарём, Томпсон сообщает, что 12 марта (по новому стилю) Россия стала республикой, и *сбылось то, о чём можно было только мечтать*: «Все теперь свободны и равны!» Он невероятно рад, что ему удалось стать свидетелем исторического события, сравнимого с Французской революцией.

Шестого марта Томпсон ещё сомневался: «Что касается государственного переворота, не думаю, что он возможен». Петроград полон слухов: бывший премьер-министр Штюрмер подкуплен, Протопопов тоже изменник и сдаст Россию немцам. Журналист видит, как изголодавшиеся люди часами стоят в очереди — на страшном холоде! — или даже осаждают булочные: «Через несколько дней, возможно, совсем не будет хлеба. Чёрный хлеб, который сейчас продают, нечто ужасное. <...> Не представляю, как живётся беднякам». Он слышал, что в город прибыло 14 тысяч казаков. Восьмого марта Томпсон узнаёт, что большинство заводов закрылись, он видит, как на крышах устанавливаются пулемёты; в городе действуют агитаторы, как он полагает, правительственные, намеренно подталкивающие толпу к беспорядкам; в этот день он уже уверен: «В России будет революция». Одиннадцатого марта он стал свидетелем того, как полицейские на Невском проспекте, между Садовой улицей и Аничковым мостом, расстреляли из пулемёта и винтовок демонстрацию; на его глазах была убита девочка: пуля попала ей в шею, почти оторвав голову...

Двенадцатого марта, ещё до рассвета, Томпсон в очередной раз выходит из гостиницы «Астория». Со стороны Екатерининского канала в течение двадцати минут доносилась стрельба. Мосты через Неву были подняты. Томпсону сказали, что солдаты разных частей вступают в стычки друг с другом; он называет Кексгольмский полк среди тех, кто остался верен царю. А потом Томпсон, по его словам, не спал трое суток: он следовал за толпами, он отснял тысячи футов киноплёнки, сделал сотни снимков фотоаппаратом... У него приводятся и такие цифры: «На моих глазах были убиты сотни людей».

Томпсон пишет: «Первое серьёзное выступление войск против правительства произошло в понедельник в час утра: Волынский полк восстал, солдаты убили

офицеров. <...> Сразу же другому полку было приказано открыть огонь по волынцам. Они отказались. <...> Приближаясь к Марсову полю, я услышал выстрелы». Но оказалось, что это не перестрелка, а радостная пальба в воздух. Томпсон узнал, что шесть полков примкнули к протестующему народу и поддержали переворот, и: «Вместо того, чтобы смотреть на меня, как на врага, несколько солдат обнялись и расцеловались со мной. <...> Я начал снимать. Все солдаты хотели позировать мне». Через какое-то время солдаты направились к Троицкому мосту, где их встретил пулемётный и ружейный огонь со стороны войск, охранявших подступы к мосту, и из Петропавловской крепости. В одиннадцать или в половине двенадцатого Томпсон услышал, как люди кричат, что крепость пала и теперь находится в руках революционеров. Он видит большое число гражданских лиц с оружием, они присоединялись к солдатам. Покидая Марсово поле, Томпсон наткнулся на тела двадцати двух офицеров, убитых рано утром, когда в их полку начался мятеж.

Побывав в американском посольстве на Фурштатской улице (той самой, что получит имя Петра Лаврова в 1923 году), Томпсон отправился на Литейный проспект, где происходили стычки между демонстрантами и полицией, переросшие в побоище. «Полицейские хлестали налево и направо. Они действовали короткими нагайками, удары которых вырывают куски мяса из тела». Томпсон сообщает о большом количестве агентов тайной полиции — *a great many of the Secret Police*: те действовали в толпах и производили аресты. В конце концов и его задержал человек в штатском. В полицейском участке, куда он доставлен, отказались принять во внимание, что он американец, журналист и имеет пропуск: «Они сказали, что я был в толпе, а этой толпой было убито много полицейских, так что моё дело будут расследовать».

Его отвели в камеру, где находилось около двадцати женщин и трое мужчин, набитую так, что трудно было вздохнуть. До них доносились звуки винтовочной и пулемётной стрельбы. В соседней камере запели «Марсельезу». Томпсон пишет: «Прозвучало от десяти до пятнадцати револьверных выстрелов, и пение прекратилось». В восемь часов вечера стрельба приблизилась и стала громче. Поднялся шум, такой, какого, по уверению Томпсона, он не слышал ни разу в жизни: грохот ружейных выстрелов, треск револьверов, рёв пулемёта, казалось, будто рвутся бомбы или снаряды, заключённые вопили, тысячная толпа крушила двери и била окна... Когда полицейский участок был взят штурмом, камеры открыли. «Толпа освободила нас. В приёмном зале я увидел картину, которая не поддаётся описанию. Женщины, став на колени, рвали тела полицейских на части. Я видел, как одна женщина пыталась ногтями содрать у одного из них кожу с лица».

На улице было множество красных флагов. Подъехало несколько грузовиков, нагруженных винтовками и патронами. Томпсону предложили взять револьвер и патронов. Что он и сделал. Он заметил человека с рулоном красной материи под мышкой. Тот отрывал от рулона и раздавал куски, и американский журналист сделал себе красную повязку на рукаве — присоединяясь таким образом к русской революции.

Двадцать шестого мая Дональд Томпсон отправляется поездом в Царское Село — городок, где содержался свергнутый Николай II с семьёй, пригород, куда, после второго переворота, большевистского, Керенский вступит в конце октября с малочисленными войсками, пытаясь вернуться в Петроград и восстановить власть Временного правительства; здесь невольно вспоминается свидетельство другого американского журналиста, Джона Рида, из его книги «Десять дней, которые потрясли мир»: «В воскресенье 11 ноября (29 октября), казаки под колокольный звон всех церквей вступили в Царское Село, причём сам Керенский ехал на белом коне. <...> Боя не было. Но Керенский допустил роковую ошибку. В 7 часов утра он послал 2-му Царскосельскому стрелковому полку приказ сложить оружие. Солдаты ответили, что они соблюдают нейтралитет, но разоружаться не желают. Керенский дал им десять минут на размышление. Это озлобило солдат; вот уже восемь месяцев, как они сами управляли собой через свои полковые комитеты, а теперь запахло старым режимом... Через несколько минут казачья артиллерия открыла по казармам огонь и убила восемь человек. С этого момента в Царском не осталось ни одного *нейтрального* солдата...»

Мы берём на заметку, что в мае *революционные* солдаты, в более чем достаточном количестве скопившиеся в небольшом городке, *сами управляют собой* и, тогда как продолжается война, не собираются на фронт, дабы защищать Отечество... На вокзале солдаты требуют от Томпсона объяснить цель приезда; это, как отмечает журналист, далеко не те отборные воины из гвардейского полка, которых он видел там в 1915 году. Томпсон предъявляет нужные бумаги, и ему разрешают встречу с бывшим императором. Сначала он, подчёркивая, видимо, что Россия стала республикой, где все *свободны и равны*, называет его *господином Романовым — Mr Romanoff*, но потом пишет *the Czar*, видя перед собой хотя и бывшего, но всё-таки *царя*.

Царская резиденция не показалась ему *величественной* (нам известно, что Николая с семьёй поместили не в роскошном Екатерининском, а в более скромном Александровском дворце, где они пребывали до 1 августа 1917 года). «Революционеры, — сообщает Томпсон, — устроили прямо под окнами царя небольшое кладбище, на котором они похоронили своих сторонников, убитых во время революции».

Общительный американец быстро познакомился с местным офицером полиции, который рассказал ему о визите Керенского (имевшем место в апреле), и как перед встречей со свергнутым императором Керенский настолько разволновался, что: «Когда его проводили в комнату царя, он не знал, что сказать. Царь сам сделал шаг ему навстречу, протянул руку со словами: Я рад знакомству. Очень жаль, что мы не были знакомы раньше, я бы назначил вас одним из своих министров. Я и не думал, что вы такая знаменитость, и что народ так любит вас. — Керенский явно не смог ответить, как задумывал. Он сказал только: Мне тоже жаль, что мы раньше не были знакомы».

Замечательно, не правда ли? Имела место встреча двух совершенно разных людей со схожей участью: оба, обладая, верховной властью в России, но смогли удержать её, оказавшись слабыми правителями, не способными к жёстким, тем более жестоким мерам; им на смену придёт В. И. Ульянов, который во время гражданской войны с противниками большевистского правительства церемониться не будет,



достаточно сделать несколько выписок из Полного собрания ленинских сочинений, из напечатанных в пятидесятом томе документов, а именно телеграмм, рассылаемых Лениным в те или иные места в августе-декабре 1918 года:

«9. 8. 1918 г. <...> В Нижнем, явно, готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов <...>, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. <...> Надо действовать всюду: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадёжных. Смена охраны при складах, поставить надёжных. <...> (Телеграмма в Вологду от 9.8.1918): <...> Необходимо <...> напрячь все силы для немедленной, беспощадной расправы с белогвардейцами, явно готовящими измену в Вологде, и для подготовки защиты. (Телеграмма в Пензу): <...> Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надёжных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. <...> Предсовнаркома Ленин. (Телеграмма туда же в Пензу от 10.8.1918 года): <...> Необходимо с величайшей энергией, быстротой и беспощадностью подавить восстание кулаков, взяв часть войска из Пензы, конфискуя всё имущество восставших кулаков и весь их хлеб. <...> (Телеграмма в Саратов от 22.8.1918 года): <...> Временно советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. <...> Ленин. (Послание А. Г. Шляпникову, председателю Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта): Дорогой товарищ Шляпников! <...> Хорошо обдумайте заранее и обсудите с 2-3 надёжнейшими членами Чрезвычайки и поймите называемых здесь мерзавцев обязательно. Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских спекулянтов и взяточников. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы все на годы запомнили...»

## 11

Дональд Томпсон издал сфотографировал царя: тот прогуливался вместе с сыном по двору. Его заметили, и Николай через прислугу дал знать, что можно подойти и сделать снимки с близкого расстояния. Журналист напомнил, что они встречались в 1915 году, он фотографировал царя на фронте и во Львове, взятом русскими войсками в начале сентября 1914 (и оставленном в июне 1915 года); до нашего времени дошли некоторые *львовские* фотографии Николая II, они помечены апрелем 1915 года, но имя фотографа не указывается. Томпсон пишет, что царь вспомнил его и: «Когда я делал снимки и пока перезаряжал аппарат, вставляя новую плёнку, несколько солдат подошли вплотную, тогда как царь смотрел, как идёт перезарядка. Трое курили. Один из них отеснил царя локтем, и в то же время выпустил дым прямо ему в лицо. Но царь не подал виду, что это его задело».

В Царском Селе журналист Томпсон отснял какое-то количество киноплёнки и сделал несколько обычных фотографий. Вечером он договорился с новым другом из полиции, чтобы тот устроил ему встречу с дворцовыми слугами. Двое из восьми приглашённых, с которыми Томпсон беседовал в тот вечер, или отказывались отвечать на его вопросы, или уходили от прямого ответа; Томпсон объяснил это преданностью

царской особе. Другие, как догадался американец, рассказывали разные небылицы или вспоминали скандалы, связанные с царской семьёй, явно полагая, что все и ждут от них именно этого.

В этих *скандальных* историях, полагаю, фигурировала или упоминалась (возможно, с нелестными отзывами) Анна Вырубова. Так или иначе, на следующий день Томпсон отправился по адресу, который ему, очевидно, подсказали, и вот его короткое пояснение: «Многие думали, из-за её тесных отношений с бывшей императрицей, что она жила во дворце. Это совсем не так. У неё был дом через дорогу, и императрица обычно приходила в гости. Именно там императрица впервые встретила с Распутиным».

12

Томпсон счёл нужным взглянуть на дом, где жила Вырубова. *Маленький Анин домик*, как назвала его Зинаида Гиппиус, не был, конечно, лачугой, но не выделялся размерами и роскошью; сама Вырубова вспоминала о *крошечном доме в Царском Селе*, нанятом в 1907 году, когда состоялось бракосочетание фрейлины Анны Александровны Танеевой и морского офицера Александра Васильевича Вырубова. Дом не был собственностью и, как я понимаю, Танеева, став замужней женщиной, официально выбыла из фрейлин; и вот ведь, она, человек с *несложной внутренней сущностью* — лучшая подруга у Александры Фёдоровны; наверно, лучше принять определение Зинаиды Гиппиус: *верная слуга царицы*.

Может быть, её близость ко двору и причастность к государственным делам сильно преувеличены? Ходило много слухов, особенно с нажимом на то, что между Вырубовой и Распутиным духовные отношения сочетаются с плотскими... В любовных историях мы не будем копать, а обратимся к свидетельству А. Д. Протопопова (1866-1918): он, имевший высокий и важный пост в последнем царском правительстве, был арестован после Февральской революции и на допросах в Чрезвычайной следственной комиссии показывал: «Самый близкий к государю и государыне человек — это была Вырубова. Она была свой человек». Более того, Протопопов, возглавлявший не земледелие или просвещение, но ведавший внутренними делами империи, зачастую, вместо того, чтобы, как полагается, подать *всеподданнейший доклад*, посылал в *частном порядке* записку означенной Вырубовой. Когда члены Комиссии добивались от него ответа: какая могла быть связь между ним, министром внутренних дел, и Вырубовой, частным лицом, — Протопопов выкручивался и оправдывался: она «Знакомая, которая во всякое время может прочесть и передать»; она, *дежурившая при государыне*, могла «улучить момент, чтобы доложить».

Вырубова, *царицына верная слуга*, была не просто связующим звеном, она в какой-то степени *прикладывала руку* к государственным вопросам, что явствует из допроса Протопопова:

«Председатель: Значит, бывшему государю вы посылали через эту фрейлину сообщения?»

Протопопов: Если это было интересно, если не интересно, то она могла бросить.

Председатель: Значит, для сообщения бывшему государю?»

Протопопов: Иной раз».

Возвращаемся к запискам Томпсона: «Вырубова теперь в Петропавловской крепости и, вероятно, останется там надолго, если нынешнее правительство не проявит жалость и не переведёт её в больницу. Мне говорили, что её здоровье подорвано, и ей с каждым днём становится хуже. Держать женщину, к тому же калеку, которая не способна сделать шаг без костылей, в такой тюрьме, как Петропавловская крепость, это позор, каким бы ни было её преступление».

Американский журналист пожалел женщину-калеку — пусть даже она считается преступницей. Сегодня мы, полагаясь на имеющиеся свидетельства и показания, отметая злонамеренные выдумки, имеем право задать вопрос: в чем, собственно, преступление Вырубовой? Без императрицы, без Распутина, без таких *государственных деятелей*, как Протопопов, она была бы никем и ничем. Зинаида Гиппиус обрисовывала без симпатий Вырубову: «Стеклоглазая, круглолицая русская баба-фрейлина, хромая Аня»; но и Гиппиус, человек резкий, непримиримый, даже обвинив Вырубову в *непоправимом вреде*, не видела смысла в её преследовании: «Не нужны были допросы, держанья в тюрьмах, следствия».

Томпсон ездил в Царское Село в конце мая, видел дом Вырубовой, а 15-го июля ему удалось увидеть саму Вырубову — в тюремной камере. «Сегодня утром я побывал в Петропавловской крепости, и мне разрешили фотографировать. В крепости, которая также тюрьма, около 80 камер, как мне сказали. <...> Заключённые, в большинстве бывшие министры старого правительства, получают ту же еду, что солдаты. Она состоит, в основном, из чёрного хлеба и какого-то супа. <...> Я пошёл наверх, где держат Штюмера и Протопопова, но увиделся с ними не сразу. Анна Вырубова, которая была близким другом бывшей царицы и, как полагают, была близка к Распутину, ходила медленно, опираясь на костыли, взад-вперёд по своей камере. Я не знаю, как именно она стала калекой, но несчастный случай произошёл ещё до революции. <...> Охранники говорят, что суд над теми, кого здесь содержат, состоится в ближайшее время. Я спросил, в чём их будут обвинять. Мне ответили, что обвинений так много, что всех не перечислишь. Однако, когда разговариваешь с русскими ответственными лицами, они сильно сомневаются, что прямую вину кого-либо из бывших министров удастся доказать».

Добавим к рассказу Томпсона следующее: Б. В. Штюмер в 1916 году побывал и министром внутренних дел, и председателем совета министров, возглавляя одновременно министерство иностранных дел, его отправили в отставку 10 ноября 1916 года, при этом великий князь Георгий Михайлович в письме Николаю II отмечал, что *Ненависть к Штюмеру чрезвычайная*. Престарелого Штюмера арестовали после Февральской революции, поместили в Петропавловскую крепость, и, уже смертельно больного, отвезли в больницу, где он умер 20 августа (2-го сентября) 1917 года. А. Д. Протопопова на какое-то время переводили из тюрьмы в лечебницу для нервных больных; но немощную Вырубову не выпускали — ненависть к ней была, судя по всему, ещё больше, чем к бывшим министрам последнего царского правительства... Я полагаюсь на свидетельство доктора И. И. Манухина (1882-1958), которому разрешили, через два месяца после Февральской революции, посещать заключённых:

«Арестованные находились в особом, расположенном в глубине здании, так называемом Трубецком бастионе. <...> Ощущение каменного мешка... <...> Среди заключённых — две женщины: А. А. Вырубова и Е. В. Сухомлинова. Общее впечатление: болезненного вида, измученные, затравленные люди, некоторые в слезах... Там были разные монархисты: министры Макаров, Н. А. Маклаков, Протопопов, Сухомлинов, Щегловитов, Штюрмер, из тайной полиции и жандармерии Белецкий, Виссарионов, Герасимов, Кафафов, Комиссаров, Курлов, Спиридович <...>. А. А. Вырубова производила впечатление милой, очень несчастной женщины, попавшей неожиданно в кошмарные условия, которых для себя она никогда ожидать не могла и, вероятно, даже не воображала, что такие на свете бывают. Убедившись, что я готов в несчастье ей помочь, она была со мною откровенна. Свою связь с Распутиным она категорически отрицала, и, несомненно, так это и было: она говорила правду. Но от разговора о Распутине она всегда уклонялась. <...> Положение А. А. Вырубовой в крепости было хуже всех. Настроенная против неё часть охраны и гарнизон её ненавидели и ненависть свою всячески проявляли. Было ясно: если жертвы будут, первой из них будет А. А. Вырубова. Я предупредил Чрезвычайную Следственную Комиссию об опасности пребывания заключённых в крепости. Комиссия со мною согласилась. Представители же гарнизона о возможном вывозе по болезни заключённых и слышать не хотели. <...> В эти дни смертельно заболел Б. В. Штюрмер. <...> Его <...> удалось увезти в больницу, где затем он и скончался. <...> Тут встал вопрос об А. А. Вырубовой. Мне пришлось обсуждать его на собрании представителей гарнизона. Сначала они резко возражали, потом уступили <...>. А. А. Вырубову перевезли из крепости в арестный дом при бывшем губернском жандармском управлении <...>. В конце августа Временное Правительство постановило выслать её за границу...»

Мы знаем о *министерской чехарде* в последнем царском правительстве, мы слышали и читали о решениях и действиях верховной власти, которые не улучшали положения. Временное правительство, столь же бессильное, с той же *министерской чехардой*, как будто не имея более важных дел, сводило счёты с царскими чиновниками, затеяв и растянув на многие месяцы *допросы, держанья в тюрьмах, следствия*. Ненависть захлёстывала общество; в общей неразберихе искали и быстро находили виновных, среди которых оказалась и Вырубова, калечная женщина, большим умом не наделённая, но не злонамеренная, на какие-либо *контрреволюционные* действия не способная.

Можно объяснить и понять гнев *низов*, жаждущих расправы над бывшими своими властителями, повелителями, начальниками и распорядителями; не очень понятна позиция русской интеллигенции, точнее, позиция каждого представителя этой интеллигенции... Например, поэт А. А. Блок в мае 1917 года посещал те же тюремные камеры Петропавловской крепости и видел тех же людей, о которых мы слышали от Томпсона; увидев упомянутую Е. В. Сухомлинову, жену прежнего военного министра, он подумал: эту *стерву* надо повесить.

Юрист Н. К. Муравьёв (1870-1936), назначенный председателем «Чрезвычайной следственной комиссии», пригласил, взял на работу Блока, и тот редактировал стенографические тексты после допросов; в письме от 30 мая 1917 года сын Александр

пишет матери, жившей в то время в Шахматове: «На днях утром я обходил с Муравьёвым камеры — обошли 18, в том числе Сухомлинова (и жены его, стервы), Штюмерера, Протопопова, Маклакова, Курлова, Беляева, Дубровина, Вырубовой. Поразило меня одно чудовище, которое я встречал много раз на улицах, с этим лицом у меня было связано разное несколько лет. Оказалось, что это Собещанский, жандармский офицер, присутствовавший при казнях. В камере теперь — это жалкая больная обезьяна.

Очень мерзок старик Штюмер. Поганые глаза у Дубровина. М-ме Сухомлинову я бы повесил, хотя смертная казнь и отменена. Довольно гадок Курлов. Остальные гораздо лучше. С нами ходил доктор Манухин...»

Казалось бы, какое дело поэту, автору *возвышенных* стихов, до политических дрызг, до закулисных интриг и подковёрной борьбы, имевших место в правительстве, отстранённом от власти? Интриги, борьба, коррупция присущи в большей или меньшей степени любой власти при любой форме правления... Но и поэт Александр Блок, как мы судим по содержанию и тону письма, проникся желанием *рыться в грязном белье*, и он ввязался в суетное разбирательство с желанием определить и наказать *виновных*.

## 13

По свидетельству Зинаиды Гиппиус, в марте 1917 года, когда большинство в России ещё пребывало в безудержной радости от падения монархии, Д. С. Мережковский предсказал: «Нашу судьбу будет решать Ленин».

Гиппиус составляла воспоминания через много лет после Революции, она могла ошибиться, могла и приписать Мережковскому столь тонкую проницательность, проявленную ещё до возвращения Ленина из-за границы, до того, как, по её словам, «он, с братией, в запломбированном вагоне (или поезде) в Россию был доставлен». Познакомимся с впечатлениями и мнениями Дональда Томпсона, которые он высказал сразу после Февральской революции, а не по прошествии какого-то времени, когда события 1917 года воспринимались вольно или невольно уже с учётом второго государственного переворота и прихода к власти большевиков.

Похоже, что о Ленине американский журналист услышал впервые только 15 апреля 1917 года: «Сообщают, что один из эмигрантов-социалистов по имени Ленин, который проживал в Швейцарии, возвращается в Россию». Запись от 23 апреля: «Николай Ленин, которого я упоминал на прошлой неделе, <...> прибыл в Петроград и стал здесь героем. Этому человеку предоставили особый вагон через Германию, когда он уезжал из Швейцарии в Россию. Все здесь говорят, что он немецкий агент. По крайней мере, как я слышал, он щедро тратит деньги». Ленин призывал немедленно заключить мир с Германией, и журналист считает, что такая деятельность опаснее всех остальных. «Ленин становится популярным, так как он выступает в разных казармах перед солдатами почти каждый день, говорит им, что войну нужно закончить, чтобы они вернулись по домам и были дома, когда начнут делить землю». Томпсон читает в московских газетах призывы арестовать Ленина как немецкого шпиона. Первого мая Томпсон записывает, что выступления Ленина, ставшего во главе непримиримых социалистов, направленные против Временного правительства и союзников России по

войне, уже привели к одному бунту в Петрограде; довольно неожиданно звучит совет Томпсона, что Ленина лучше всего убить — для спасения России: «The best thing for Russia to do is to kill Lenine». По меньшей мере, его следует арестовать и посадить в тюрьму, иначе настанет день, когда *всё здесь окажется в его власти*. При этом Томпсон как будто и не чувствами руководствуется, а вполне трезво рассуждает: «Ленин выдающаяся личность, у него достаточно ума, чтобы понимать, какие слова хочется услышать русским беднякам. Эти бедняги верят, что, если дать власть Ленину, война закончится, земля и все деньги поделят между ними, и им больше не нужно будет работать. <...> Ленин и его банда головорезов захватили дом бывшей танцовщицы <...>. Из этого дома он обращается к огромным толпам. <...> Перед этим зданием происходят многочисленные стычки...»

Пятого июня Томпсон снова вспоминает *бывшую танцовщицу*, теперь называя её по имени: Кшесинская: «Во многих газетах от правительства требуют вернуть ей дом и выбросить оттуда Ленина и его шайку» (Lenine and his gang). Одновременно Томпсон отмечает, что с каждым днём усиливаются требования посадить бывшего царя в Петропавловскую крепость. В середине июля Томпсон понимает, что Ленин намеревается свергнуть Временное правительство; а двадцатого июля (все даты по-прежнему по новому стилю), после Июльского восстания (или мятежа, как его называют некоторые историки), когда, как мы знаем, Ленин скрылся в посёлке Разлив, американец Томпсон рассуждает: «Этот Ленин, который сбежал, переодевшись матросом <...>, и его сообщник Троцкий, который несколько месяцев назад работал подавальщиком в нью-йоркской забегаловке, я не помню двух других личностей в истории, кто бы причинил больше вреда России. Я думаю, что единственным решением для Керенского будет поймать этих двоих и дать им вышку».

Здесь мы можем усомниться: верно ли утверждение Томпсона, будто Троцкий подрабатывал подавальщиком еды (*hash slinger*)? Насколько нам всем известно, Троцкий за время своего недолгого пребывания в Соединённых Штатах не только *подавальщиком* в ресторане, он вообще нигде не работал, и попытки, предпринятые позже, обнаружить источник его доходов не увенчались успехом. Кроме жаргонного *hash-slinger*, Томпсон, давая заочные советы А. Ф. Керенскому, использует другое жаргонное выражение *give them the limit*, что я перевёл как *дать им вышку*, но, возможно, лучше перевести как *поставить их к стенке*...

Как мы знаем, Ленин ушёл от преследования и не пострадал, а после Октябрьской революции, действительно, именно он *решал нашу судьбу*, и не его, а других *ставили к стенке*, другим *давали вышку*... Воспользуемся ещё раз словами самого Ленина, для нескольких поколений советских людей бывшего *самым человечным человеком*, — так говорилось в детских книжках и на школьных занятиях по истории, так утверждали многочисленные плакаты, так писали советские авторы, вносящие свой вклад в *Лениниану*, с удовольствием повторяя эту чеканную фразу из поэмы В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», фразу, *корнями вросшую в русское сердце*; повторим некоторые приказы *самого человеческого человека*, отданные им в 1918 году: «навести тотчас массовый террор; действовать всюду: массовые обыски; расстрелы за хранение оружия; массовый вывоз меньшевиков и ненадёжных; беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев;

сомнительных запереть в концентрационный лагерь; расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты; поймать и расстрелять...» И особенно следует выделить следующее мстительное распоряжение *народного* вождя, *философа-марксиста*, решившего построить на крови *высшую общественную формацию*: «С этой сволочью надо расправиться так, чтобы все на годы запомнили».

## 14

Дональд Томпсон уехал из России в августе 1917 года; в 1919 году в Америке вышел его документальный фильм «The German Curse in Russia» — даже по названию видно, что Томпсон по-прежнему объяснял беды, свалившиеся на нашу страну, немецкими происками, считал главной виной немецкие деньги и немецких шпионов. Со временем Томпсона забыли, как и его фильм, как и его фотографии, опубликованные во время Первой мировой войны в американских и британских периодических изданиях; некоторые из его русских снимков воспроизводились в каких-либо исторических публикациях советского времени — по незнанию, кто автор, как работы неизвестного фотографа. Мало что известно о Томпсоне, не только у нас, но и в Соединённых Штатах... Зато во всём мире знают другого американского журналиста, Джона Рида, и на многих языках продолжают переиздавать его книгу «Десять дней, которые потрясли мир».

## 15

Судя по всему, точнее, судя по тому, что нам известно о Джоне Риде, он, сын обеспеченных родителей, вовсе не пролетарий, взялся *беззаветно защищать интересы рабочего класса* у себя в Америке, он без колебаний и оговорок приветствовал большевистскую революцию, восхищаясь Лениным и Троцким и безусловно веря в их правоту. Он *уверовал* в то, что все недостатки и несправедливости буржуазного общества можно устранить революционным путём, и события в России показались ему началом всемирного общественного переустройства, решительным шагом к *светлому царству*. Альберт Рис Вильямс (1883-1962), другой американский журналист, тоже очевидец Октябрьских событий в Петрограде, высказался, на мой взгляд, очень точно о настроении своего друга Джона в 1917 году: «Русская революция захватила его целиком и безраздельно».

В Америке в житейских и политических взглядах Джона Рида разбирались профессиональные журналисты, дипломированные историки и просто любители написать что-нибудь про Советский Союз. При этом одни утверждали и доказывали, что он со временем разочаровался в большевизме, другие настаивали, что разочарований у Рида не было и быть не могло.

В России *типичному* историку советского времени судить об Октябрьской революции и её участниках было проще, ибо он не разбирался, и не вникал, и не проявлял излишнее любопытство по поводу спорных или запретных политических вопросов, он просто повторял в своих писаниях или рассуждениях *неоспоримые*

*истины*: большевистская, она же коммунистическая, партия во главе со своим гениальным вождём Лениным совершила Великую Октябрьскую социалистическую революцию, открывшую новую эру в истории человечества. В этом историк отстоял недалеко от партийных агитаторов и пропагандистов, тиражировавших по шаблону плакаты на бумаге и красной материи: «Ленинизм — знамя нашей эпохи», «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны», «Народ и партия едины»... Советский историк мало чем отличался от верноподданных виршеплётов, чьи незатейливые рифмы печатались в советских газетах и журналах или использовались в величальных песнях — здесь я почти наугад вспоминаю «Марш коммунистов» (1957 год) на слова Михаила Вершинина:

Бессмертен Ленин — наш отец —  
Создал Советское Отечество,  
Он счастья нашего творец,  
Он светлый гений человечества!

Для *народных масс*, для *широкого читателя*, для советских и иностранных обывателей суть Революции, советского строя и коммунизма закономерно сводилась к постулатам, лозунгам, гимнам и маршам вроде того, который я только что вспомнил, к памятникам, по шаблону сработанным: Ленин, бронзовый, гранитный или цементный, возвышаясь на постаменте, выбросил руку вперёд, указывая путь к *светлому будущему*; на постаменте изображены красногвардейцы — с ружьями и красной лентой на папаше, рабочие — те, что путиловские, и матросы — балтийские, особенно с крейсера «Аврора». В этот шаблон вмонтировали и Джона Рида; обратимся для наглядного примера к тому же М. М. Вершинину, сочинившему в своё время слова для песни об иностранце *из Америки далёкой*, который принял и приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию:

Джон Рид идёт по Петрограду.  
Закат над Балтикой горит.  
За баррикадой баррикаду  
Проходит с пропуском Джон Рид.  
Дорогой длинной и нелёгкой,  
Дорогой гнева и обид  
Он из Америки далёкой  
Стремился к Ленину, Джон Рид!

После бравурного припева во втором куплете упоминаются и хрестоматийные путиловцы, и солдаты-красногвардейцы с матросами-балтийцами:

И десять дней он с нами рядом,  
В грозе восстания не спит!  
Идёт с путиловским отрядом  
Бесстрашный пламенный Джон Рид!



Он отвечает на вопросы,  
Он с русским людом говорит,  
Идут солдаты и матросы,  
И с ними рядышком Джон Рид!

Почему *десять дней*, ведь на самом деле Рид находился в России несколько месяцев в 1917 году? Ответ очевиден: поэт Вершинин намекает на книгу американского журналиста о Революции, он, упрощая, сводит пребывание Джона Рида в Петрограде к тем *десяти дням, которые потрясли мир*, с пафосом восклицая: «Те десять дней равны столетьям!»

16

В предисловии к «Десяти дням» В. И. Ульянов (за подписью *Н. Ленин*) высказал пожелание, чтобы книгу Джона Рида распространяли в миллионах экземпляров и перевели на все языки, «так как она даёт правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата». У нас нет оснований сомневаться в исторической ценности означенного произведения, мы можем только удивляться: каким деятельным, вездесущим, наблюдательным и работоспособным человеком был Джон Рид, как ему только удалось в преддверии и во время большевистского переворота побывать во всех ключевых точках тогдашнего Петрограда, запомнить столько событий, записать столько речей, дать характеристики и руководителям, и участникам, и противникам Революции.

Не берусь судить, дошло ли дело до *миллионов экземпляров* в совокупности русских и иностранных изданий, но осмелюсь высказаться мыслью о том, что для большинства читателей и в послереволюционное, и в нынешнее время «Десять дней, которые потрясли мир» — чтение не по уму. Нет у меня уверенности и в том, что книга Джона Рида приблизила кого-либо из нас, как того хотел В. И. Ленин, к чёткому пониманию, почему Октябрьская революция считается *пролетарской*, получил ли рабочий класс то, что ему было обещано людьми, по происхождению и складу ума отнюдь не пролетариями, и в какой степени пролетариат участвовал в *диктатуре*.

Джон Рид сознавал, что многие события, предшествовавшие Октябрьской революции, да и, в целом, положение дел в России в течение всего 1917 года, неизвестны американцам, он взял на себя труд объяснить раскладку политических сил перед большевистским переворотом. Во «Вступительных замечаниях и пояснениях» читателю предлагается обзор российских партий, группировок и движений: кто такие кадеты, кто такие народные социалисты, они же трудовики, какая разница между просто меньшевиками и меньшевиками-интернационалистами... Публикации Рида в журнале «Массы» и затем издание «Десяти дней» отдельной книгой в 1919 году стали пропагандистским подспорьем для американских профсоюзных вождей, социалистов и коммунистов, которые, вряд ли поняв по книге все сложности и тонкости русской смуты, утверждали упрощённо, что в России осуществилось то, о чём мечтают рабочие в Америке и во всем мире. Что касается самих американских рабочих, кто-то из них

слышал о книге, кто-то держал в руках, кто-то, очевидно, даже пробовал читать — но не более того.

Утверждение, что книга была принята с восторгом большевистским руководством, зиждется только на том, что Ленин написал к ней хвалебное предисловие. Произведение Рида, в целом, служило прославлением большевистского переворота, вспомним слова автора: «Неоспоримо, что русская революция есть одно из величайших событий в истории человечества», — и этого было достаточно, чтобы сделать три перевода и несколько изданий «Десяти дней» с 1923 по 1930 год. При этом для *трудовых масс* были выпущены сокращённые изложения. В 1924 году в Петрограде увидела свет брошюра под названием «Штурм отжившего мира», имевшая именно эту цель: *приблизить Джона Рида и его книгу к широким массам молодых читателей*; во вступлении в нужном свете (и с некоторой потугой на литературность) объяснялось, что автор, *пламенный революционер, неугомонный рекрут коммунизма*, в октябре 1917 года «присутствовал при возведении баррикад, пережил вместе с массами великую ночь в Смольном...» В том же 1924 году московское издательство «Красная новь» напечатало «Десять дней, которые потрясли мир» в *популярном изложении для крестьян*. Почему бы нет, если не все способны прочитать и понять полный текст?

На мой взгляд, любопытно следующее: Пятнадцатый съезд ВКП (б) в 1927 году осудил *троцкистско-зиновьевскую оппозицию*: она-де окончательно отошла от марксизма-ленинизма, переродилась в меньшевистскую группу; имел место *идейный и организационный разгром троцкизма*, Троцкого и Зиновьева с их *раскольнической деятельностью* исключили из партии, но книгу Джона Рида, в которой автор восхищается Троцким, продолжали печатать. В 1928 году она вышла в Москве в обработке Марка Волосова, в следующем году опубликовали полный текст в переводе А. И. Ромма. В 1930 году еще одно издание — без вырезки каких-либо событий или речей, без удаления чьих-либо имён. В 1929 году Л. Д. Троцкого выслали за границу, но в 1930 году и рядовой советский гражданин и заинтересованный исследователь имели ещё доступ к свидетельству Джона Рида об активной роли Троцкого в большевистском перевороте, тогда как имя Сталина приводилось автором лишь среди подписей к двум документам.

17

В 1987 году, когда отмечалось семидесятилетие Великой Октябрьской Социалистической революции, я взялся написать очерк о Джоне Риде для ленинградского журнала «Аврора». Повод был: американский журналист горячо приветствовал Революцию; имелся и предлог: Рид родился ровно сто лет назад. Где-то в начальных классах школы я случайно перелистал книгу «Десять дней, которые потрясли мир» (переизданную в 1957 году после значительного перерыва): она отпугивала большим количеством фамилий, дат, цитат и рассуждений. В университете у нас был курс истории КПСС, но лектор и руководитель семинара руководствовались *утверждёнными* советскими учебниками, не имея нужды в Джоне Риде с его *свидетельством из первых рук*.

Взявшись за *серьёзное* изучение Джона Рида, я выяснил, что ещё до приезда в Россию его возмущало *несправедливое неравенство богатых, имевших по несколько автомобилей, и бедных, которым нечего было есть*. Он уверен в неизбежности классовой борьбы и в автобиографическом очерке «Почти тридцать» пишет: «Я желаю всем сердцем, чтобы пролетариат восстал и завоевал свои права». Считая, что американские рабочие к восстанию не способны, он возлагает надежды на Россию, куда отправляется в августе 1917 года вместе с женой, Луизой Брайент (1885-1936), — обещаясь посылать репортажи Максу Истмену, редактору журнала «Массы. Во многом мечтатель, Джон Рид в то же время быстро схватывает суть происходящего и приходит к выводу, что *Февраль был лишь предварительной революцией*. За месяц до второго, октябрьского, переворота он в письме из Петрограда делится с художником Бордменом Робинсоном своими впечатлениями: «Мы в самом центре событий, и, поверь, это — потрясающе. Мексика бледнеет перед этими красками, этим ужасом и величием». Под *Мексикой* следует понимать многолетнюю гражданскую войну в этой стране: в 1913 году Джон Рид в качестве военного корреспондента находился в повстанческой армии, которой командовал небезызвестный Панчо Вилья.

Перечисленные сведения я почерпнул из американского издания «Десяти дней» — из предисловия, написанного Бертрамом Вульфом. Вульф (1896-1977), или Вольф, как его фамилию передают в ряде русских источников, лично знал Джона Рида. Как и Рид, он придерживался социалистических взглядов, в 1919 году участвовал в создании американской коммунистической партии. В 1929 году из партии его, правда, исключили; в одних публикациях сообщается, что он принадлежал к троцкистам, в других, что со временем он стал даже антикоммунистом... Всё это известно теперь, но в 1987 году имя Бертрама Вульфа, который симпатизировал Троцкому, который написал книгу «Трое, совершившие революцию» (о Ленине, Троцком и Сталине), который оспаривал решения Коминтерна, — его имя у нас не упоминалось, по крайней мере, в официальных справочниках, и я совершил *политическую ошибку*, взявшись, по незнанию, читать означенного спорного, или, возможно, даже в то время запрещённого, автора.

Если по порядку, я отправился в Публичную библиотеку, носившую тогда имя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Считая, что лучше всего обратиться к оригиналу, я выписал по иностранному каталогу книгу «Ten Days that Shook the World», изданную в Лондоне в 1928 году. В каталоге нашлось несколько биографий, в том числе исследование двух американских авторов, Ричарда О'Коннора и Дейла Уокера; я заказал также одно из первых изданий «Десяти дней» на русском языке... И вдруг мне говорят: заказанные материалы находятся в отделе особого хранения, для их получения требуется официальный запрос с места работы. Не придавая, по легкомыслию, особого значения неожиданному препятствию, я обзавёлся нужной бумагой (в редакции журнала «Костёр», где я числился корреспондентом) и представил её по месту требования. Молодая сотрудница, как-то по-детски восторженная от того, что ей доверено нечто *особое*, чуть ли не секретное, провела со мной небольшое собеседование перед встречей с начальником отдела: мне нужно будет объяснить начальнику, почему я выписал именно эти книги, а не другие, существенно ли это для моей работы... Я, честно говоря, испугался, мне захотелось развернуться и побыстрее уйти, ибо

представились неприятные последствия: из библиотечного *особого хранения* сообщат по долгу службы в *особый отдел* государственный безопасности: такой-то гражданин пытается проникнуть в *секреты* политического характера!

Начальник отдела наложила резолюцию: разрешить. Молодая сотрудница заполнила на меня формуляр, радостная: видите, как все хорошо образовалось! Она принесла мне заказанные книги. Я открыл их, продолжая сомневаться: нужно ли мне с *этим* связываться? И по-прежнему озадачивало: что же *такого* таится в публикациях о Джоне Риде, считавшем Ленина великим человеком и Октябрьскую революцию величайшим историческим событием? И не странно ли хранить под спудом *его* книгу, которую сам Ленин назвал *правдивой* и посоветовал перевести на все мировые языки?

18

Я не обнаружил ничего *антисоветского* ни в английском тексте лондонского издания 1928 года, ни, понятное дело, в предисловии за подписью *Nikolai Lenin*, где большевистский вождь рекомендует книгу рабочим всего мира: «I recommend it to the workers of the world. Here is a book which I should like to see published in millions of copies and translated into all languages». Почему же «Десять дней», оригинал и ранние переводы, попали в *особое хранение*?

Американские журналисты Р. О'Коннор и Д. Уокер погрузили меня в гущу политической полемики и борьбы семидесятилетней давности, я потерялся и запутался, встречая новые и новые имена, свидетельства людей, мне незнакомых, ссылки на множество исследований, мне неизвестных... Становилось понятно, что вырисовывается образ человека с куда более сложной судьбой и взглядами, нежели тот *бесстрашный пламенный* Джон Рид, приехавший *из Америки далёкой* в Петроград, чтобы с путиловским отрядом ходить от баррикады к баррикаде, как пелось в вышеупомянутой песне. В своём исследовании О'Коннор и Уокер упорно проводили мысль о том, что в конце жизни Джон Рид разочаровался в своих революционных идеалах. Идея биографического исследования высказана ими в самом заголовке «The Lost Revolutionary» — можно перевести как «Потерянный революционер» или «Разочарованный революционер».

Что точно: в 1917 году никакого разочарования Джон Рид не испытывал, революционные события в России захватили его, действительно, *целиком и полностью*, и работая над репортажами из России, он следует своему принципу, высказанному ранее в очерке «Почти тридцать»: «Я должен увидеть всё своими глазами». В «Десяти днях» он развивает эту мысль: «Излагая историю этих великих дней, я стремился рассматривать факты оком беспристрастного хроникёра, заинтересованного в передаче одной лишь истины».

Следующий отрывок — из письма художнику Бордмену Робинсону (с которым они вместе делали репортажи о боях на Восточном фронте в 1915 году), оно отправлено 17 сентября 1917 года в Америку из Петрограда: «Дороговизна ужаснейшая; рубль упал до четырнадцати центов; хлеб только чёрный, совсем сырой; сахару почти нет; раз в десять дней выдают водянистое молоко». Сравним с

февральскими заметками Дональда Томпсона: переход от монархии к республиканскому правлению не улучшил положение петроградского населения...

При чтении «Десяти дней» возникает чувство, будто Рид ни на секунду не выпускал из рук блокнот и ручку, писал чуть ли не на ходу, и даже следуя за красногвардейцами через Дворцовую площадь на штурм Зимнего дворца, он как будто на бегу, в темноте, успевал делать записи.

В среду 7 ноября (25 октября) Рид купил «Рабочий путь», потом ему удалось достать читанный номер «Дня» — в книге приводятся выдержки из этих газет, во второй из них сообщалось, что большевики ночью захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф. На Морской улице у Рида произошла встреча по знакомым: капитан Гомберг, *меньшевик-оборонец*, следующим образом оценил происходящее: «Может быть, большевики и могут захватить власть, но больше трёх дней им не удержать её». Мнение Гомберга, как мы понимаем, разделялось определенным числом петроградцев, тогда как многие боялись, по свидетельству Рида, «что в один прекрасный день на улицах появятся большевики и примутся расстреливать всех, кто не в рабочей спецовке».

Рид улавливал каким-то чутьём, куда перемещается эпицентр революционного водоворота, и следует за ним. На Исаакиевской площади он видит, что матросы заперли в «Военной гостинице», как называлась в те дни «Астория», офицеров, а на другой стороне площади генерал М. В. Алексеев (1857-1918) безуспешно требует, чтобы охранники, выставленные большевиками, пропустили его в Мариинский дворец, где заседал Совет Российской республики (известный как Предпарламент). Накал перемещается к Зимнему, и Рид там: предъявляя то удостоверение из Смольного, то американский паспорт, он проникает во дворец, записывает разговор с офицерами, с юнкерами. Затем он отправляется в Смольный, где у многочисленных броневиков уже заведены моторы и сняты чехлы с пулемётов. *Настроение было решительное...* А вот и исторический штурм Зимнего, описаны все движения *рук, сошедшихся на холемом горле дворца* (по выпрєннєму выражению поэта В. В. Маяковского), не упущены и самые малые детали: например, старые дворцовые служители были в синих ливреях, в комнате, где проходило последнее заседание Временного правительства, на окнах висели красные парчовые портьеры, а длинный стол был покрыт зелёным сукном...

Джон Рид, похоже, единственный свидетель, составивший подробный отчёт об Октябрьской революции; при этом, оставляя для потомков *сгусток истории* (a slice of intensified history), он сознавал своё назначение: «Как теперешние историки жадно подхватывают все сообщения о малейших подробностях жизни Парижской Коммуны, так историки будущего захотят знать всё, что происходило в Петрограде в ноябре 1917 года, они захотят знать, каким духом был в это время охвачен народ, что говорили и что делали его вожди. Работая над книгой, я ни на минуту не забывал об этом».

От последнего заседания Временного правительства на столе остались бумаги — черновые наброски манифестов, Рид *взял на память один из этих листков*. Альберт Вильямс вспоминал: «Кадетские, социал-революционные, меньшевистские, левоэсеровские и большевистские плакаты наклеивались один на другой такими густыми слоями, что однажды Рид отодрал пласт в шестнадцать плакатов». Рид радовался: «Одним махом я сцапал всю революцию и контрреволюцию!» Эту

*великолепную коллекцию*, как назвал Вильямс собранные прокламации, декреты и плакаты, конфисковали сразу по возвращении Рида в США, по прибытии в Нью-Йорк 28 апреля 1918 года, он с великим трудом отвоевал её, и всё это пошло в работу, прямо или косвенно прозвучало в книге «Ten Days that Shook the World», которая в марте 1919 года была напечатана и появилась в продаже.

19

Для Н. К. Крупской, которая написала предисловие к русскому переводу «Десяти дней», важно, что «Джон Рид не был равнодушным наблюдателем, он был страстным революционером, коммунистом, понимавшим смысл событий, смысл великой борьбы. Это понимание дало ему ту остроту зрения, без которой нельзя было бы написать такой книги». Возражаю: *острота зрения* — природное качество Джона Рида, проявившееся и до приезда в Россию в освещении других драматических событий; что касается страсти, она обычно застит глаза, и, если бы *страстный революционер* ограничился страстным прославлением большевиков, его произведение было бы давно забыто.

Классика! — так отзываются о книге О'Коннор с Уокером. Но их интересует не стиль Рида, не его многогранное освещение октябрьских событий, они подвергают критике его радикальные убеждения, его членство в Коммунистической партии США, его работу в Коминтерне. Так, О'Коннор и Уокер (в противовес Крупской) считают, что Риду следовало оставаться журналистом, писателем и не соваться в политику. Доказывая, что к концу жизни Джон Рид испытал глубокое разочарование в своих идеалах, авторы пишут, что Рид, больной сыпным тифом, бормотал в бреду: «Попал в западню!» Эти слова, по их утверждению, слышала Луиза Брайент, находившаяся при нём в Москве в октябре 1920 года. Она якобы сообщила их Эмме Гольдман. О'Коннор и Уокер ссылаются на воспоминания Гольдман (1869-1940); высланная в декабре 1919 года из США, известная анархистка после двухлетнего общения с большевиками *разочаровалась*, о чём и поведала в книге «Моё разочарование в России». Это она утверждала, что Джона Рида «всё больше угнетали страдания, развал и деловая беспомощность, царившие в стране». Далее: «Рид не находил себе места от горечи и беспомощности, жаловался, что он пожертвовал своими друзьями, семьёй и самим собой ради дела, в которое он больше не верил...»

Своего рода разоблачением О'Коннор и Уокер считают момент с неудачным возвращением Рида из России в Америку в начале 1920 года. Имея поддельный паспорт, пропагандистскую литературу, деньги, драгоценности (финансовая помощь американским коммунистам), Рид пересёк нелегально финскую границу, но был арестован в Або на пароходе, отбывающем в Швецию: его выдал финским властям русский матрос, посланный с ним в качестве проводника — по заданию Григория Зиновьева, который *не хотел, чтобы Рид покинул Россию*. Версия провала в книге О'Коннора и Уокера зиждется на воспоминаниях той же Гольдман.

Мы сразу усматриваем логическое несоответствие: Коминтерн снабжает журналиста своими печатными материалами и крупными денежными средствами в помощь американским коммунистам, и зачем бы Г. Е. Зиновьеву, одному из

руководящих работников Коминтерна, желать, чтобы Рид уехал не дальше Финляндии? В целом, авторы биографии и заголовком «Разочарованный революционер», и цитированием *разочарованных* мемуаристов вроде Эммы Гольдман не просто знакомят нас с фактами, они настаивают, что Джон Рид потерял веру в большевизм, они даже считают, что и после смерти ему, его праху, нет покоя на Красной площади у Кремлёвской стены!

20

Готовя очерк для «Авроры», я сначала думал просто набрать больше сведений о Джоне Риде, не сомневаясь, что автор «Десяти дней» соответствует тому, что о нём было у нас известно: коммунист, друг России; но стало ясно, что следует расширить поиск. Я заказал из *особого хранения* ещё одну биографию. Американская журналистка Барбара Гельб в книге «Такая быстротечная жизнь», делая упор на романтической любви Джона Рида и Луизы Брайент, в целом, повторяет рассуждения и выводы и О'Коннора и Уокера, утверждая, например, что ответственность за неудачный переход Рида через границу в 1920 году лежит на Коминтерне: вновь обвиняется Григорий Зиновьев, для которого «Рид был бы более полезен в России, чем в американской тюрьме» (в Соединённых Штатах его ожидало возможное тюремное заключение), вновь упоминается матрос, приставленный к Риду как проводник, но истинной целью которого якобы было провалить американца, что и случилось 13 марта 1920 года. И вновь проигрываются предсмертные слова Рида: «Попал в западню!»

Барбара Гельб прочитала про *западню* у Бенджамина Гитлоу (1891-1965) — по молодости социалист, он со временем тоже *разочаровался* и с чрезмерной яростью набросился на учение, в которое ранее веровал (и за которое даже сидел в тюрьме). Как и Гольдман, он утверждал: эти слова передала ему Луиза Брайент. По идее, нужно верить Луизе, жене, которая пересекла океан и границы, чтобы присоединиться к Риду в *красной* Москве летом 1920 года, которая была с ним до конца... Рид умер, *потому что не хотел жить* — утверждал Бенджамин Гитлоу, цитируемый Гельб: «Он умер из-за своего огромного разочарования».

В нынешнем 2017 году, когда имеется доступ к документам, тридцать лет назад для советских исследователей, включая меня, почти недостижимым, мы имеем возможность выслушать показания Луизы Брайент напрямую, не в пересказе предвзято настроенных социалистов, анархистов и беллетристов. Мы читаем письмо Луизы из Москвы в Нью-Йорк, в котором она сообщает издателю Максиму Истмену о последних днях и часах своего мужа Джона Рида. В письме есть про болезнь и смерть от тифа (отнюдь не от разочарований), в нём нет ни слова про *западню*: «Он сильно мучился <...>. Я хочу, чтобы все вы знали, как он боролся за жизнь. Если бы не эта борьба, он умер бы на несколько дней раньше. <...> Он всё время оставался в сознании, тогда как большинство больных тифом впадают в ужасный бред. Он всегда узнавал меня <...>. За пять дней до смерти у него отнялся правый бок. После этого он не мог говорить. <...> Даже когда он умер, я не могла поверить в это».

Просматривая ещё раз книгу Барбары Гельб «Такая быстротечная жизнь», я обратил внимание на фотографию с баррикадой на московской улице. Снимок

датирован поздней осенью 1917 года, то есть, привязан к пребыванию Рида в России. Но это же 1905 год, первая русская революция, баррикадные бои на Пресне! Приглядимся и к следующему *фотодокументу* с подписью по-английски: «Большевицкие вожди принимают парад на Красной площади в честь павших за революцию в январе 1919 года». На самой фотографии, между тем, виден плакат с русской надписью: «1 мая 1918. Слава павшим борцам пролетарской революции!» Люди на фотографии одеты легко, снега нет и в помине, дело было всё-таки в мае, а не в январе, как утверждает Гельб. Можно ли доверять автору, который в своём *историко-биографическом* исследовании путает события и даты? «Такая быстротечная жизнь» вышла в 1973 году, Гельб имела в Америке доступ к документам Луизы Брайент, но, не удосужившись посмотреть её показания о смерти Джона Рида, предпочла пересказывать чужие мнения и слухи.

Ещё большую несуразность мы обнаруживаем у О'Коннора и Уокера, которые следующим образом характеризуют своего героя: «Стычки с властями любого рода действовали как шампанское на анархистский дух Рида». Проживая в «Астории», Рид с другом как-то устроили стрельбу пустыми бутылками из-под содовой в тайного агента, приставленного к ним для слежки. Они вели себя так, «как будто ЧК была лишь пугалом для устрашения наивных туристов». Отлично отпечатанная книга, в красочной суперобложке, с обширным списком использованной литературы, первоначально вызывала невольное уважение, и вдруг мы наталкиваемся на жесточайшую ошибку: авторы повествуют о первом пребывании военного корреспондента Рида в России, происходило это в 1915 году, когда ЧК никого не могла устрашать, ибо её не было в помине. Через несколько строк мы читаем о том, как Джон швырнул последнюю бутылку в *агента ЧК*, повернулся к другу и закричал: «Закажи ещё содовой, у батареи кончаются снаряды!»

Авторы или не разбираются, в какой период какие были в России охранительные органы, или же они *для упрощения* использовали термин, хорошо известный неприязнительному американскому читателю: бесстрашный и свободолюбивый Джон Рид не боялся даже агентов ЧК! В любом случае, историческая достоверность и ценность разысканий, предпринятых О'Коннором и Уокером, ставится под сомнение.

## 21

Джон Рид при описании Октябрьской революции, *этих великих дней*, обещал *рассматривать факты оком беспристрастного хроникёра* — так в издании 1924 года, где переводчиком указан некий, или некая, Данцигер. В наши дни в ходу более удачный вариант: «Я старался рассматривать события оком добросовестного летописца». *Беспристрастный* и *добросовестный*, вроде бы, почти одно и то же... Как в оригинале? Там *conscientious reporter*, всё-таки упор делается на *совесть*. Прилагательное *добросовестный* — более точное соответствие для *conscientious*, и, во-вторых, *беспристрастный* совсем не подходит по смыслу, ибо автор в этом же параграфе признаётся в своей *пристрастности*: «In the struggle my sympathies were not neutral». В переводе А. И. Ромма здесь несколько корявое: «В борьбе мои симпатии не



были нейтральны»; сравним с самым первым изданием, где у В. Я. Яроцкого: «В борьбе этой я не был нейтрален».

Социалист Рид пристрастен: он верит Ленину и восхищается Троцким, считая их действия по вооружённому захвату власти необходимыми и оправданными, он насмешливо отзывается об их политических противниках, он сочувствует красногвардейцам, а не юнкерам, после переворота он радуется (не задумываясь о последствиях), что во всех районах Петрограда организуются *революционные трибуналы* для борьбы с преступностью, он приветствует подавление *буржуазного* противодействия, с одобрением отмечает, что *спекулянтов бросают в тюрьму...* Симпатии Рида очевидны, но для читателей и историков, способных судить самостоятельно, важно следующее: автор *добросовестно* описывает также действия, поступки и мнения тех, кто был настроен против большевизма. К примеру, он не умалчивает о тогдашних упорных слухах, будто Ленин подкуплен немцами; в следующей сцене молодой человек в студенческой форме допытывается и поучает простого солдата:

«А знаешь ли ты, что Ленина прислали из Германии в запломбированном вагоне? Знаешь, что Ленин получает деньги от немцев?» Любопытно, что у Ромма в этом месте речь студента звучит более обличительно, нежели в оригинале, где проще: «Well, my friend, do you know that Lenin was sent through Germany in a closed car? Do you know that Lenin took money from the Germans?» То есть, по-английски написано, что Ленина прислали *через* Германию, и Ленин не *получает*, а *взял* деньги, *получил* деньги от немцев.

Наверно, из-за таких сцен, порочащих *вождя мирового пролетариата*, книгу «Десять дней, которые потрясли мир» перестали печатать после 1930 года и предыдущие издания передали в отделы особого хранения? Или её спрятали от *широкого читателя* из-за многократного упоминания Троцкого? Мы уже отметили: у Джона Рида нет ни слова об участии Сталина в большевистском перевороте. Рид вращался в гуще событий, он видел буквально всех, но ни разу в поле зрения вездесущего журналиста не попал человек по фамилии Джугашвили. Они ни разу не столкнулись на ступенях, в коридорах или кабинетах Смольного. В американском издании 1919 года фамилия Народного комиссара по делам национальностей (People's Commissar for Nationalities) воспроизводится по-разному: *I. V. Djougashvili (Stalin)* в 5-й главе и *Yussov Djugashvili-Stalin* в 11-й главе, во втором случае имя *Иосиф* передано с ошибкой. Свидетельство Джона Рида стало сильно мешать, когда в 1930-х годах сложилось иное освещение событий: Ленин и Сталин, его *ближайший сподвижник*, руководили вдвоём из Смольного институтом восстанием и взятием Зимнего дворца, они оба — *вдохновители и организаторы победы Великой Октябрьской социалистической революции*.

Уже в 1924 году, почти сразу после выхода «Десяти дней» на русском языке, Сталин в статье «Ленинизм или троцкизм» слегка *проходится* по автору, утверждая, что Рид искажил некоторые факты, он *стоял далеко от нашей партии*, многого не знал и в чём-то *попал на удочку сплетен*, а *сплетни* шли от Троцкого! В том же году Сталин счёл нужным ответить военному моряку Ивану Зенушкину, у которого возникли вопросы после прочтения книги «Десять дней, которые потрясли мир»: «Фраза Джона

Рида о рабочем, ворвавшемся на заседание ЦК, есть позаимствованная у сплетников фантазия американского социалиста, падкого на сенсацию. Советую обратиться с письмом к тов. Троцкому <...> с вопросом сообщить правду об этой сплетне. <...> Как могло случиться, что тов. Ленин дал предисловие к книге Джона Рида без всяких оговорок насчёт некоторых неверных сообщений? Я думаю, что Ленин не читал всю книгу Рида и дал предисловие лишь для того, чтобы содействовать распространению книги ввиду наличия в ней других очень важных качеств. Дело в том, что на другой день после победы Ильич и другие товарищи интересовались не отдельными фантастическими местами книги Джона Рида, а тем, чтобы противопоставить общее описание хода нашей революции в книге Джона Рида, в основном безусловно правдивое, той лжи и клевете, которую тогда распространяла западная европейская печать...»

## 22

В первом издании Большой Советской энциклопедии, в 48-м томе, увидевшем свет в 1941 году, о Джоне Риде сказано, что он *принимал участие в Великой Октябрьской социалистической революции*, и есть кратенький отзыв о его книге — как бы вскользь о чём-то несущественном: в ней «показ событий революции. Ценность книги снижается благодаря неверной оценке автором отдельных исторических эпизодов и лиц». Мнение редакции о *неверной оценке* согласуется со словами Сталина о *неверных сообщениях*.

Во втором издании БСЭ, в 36-м томе (1955 год), Джона Рида снова хвалят за то, что *он горячо приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию*. А по поводу книги... о том, что им была написана книга «Десять дней, которые потрясли мир» — ни слова. Решение *мудрое* — чтобы обезопасить себя от любых вопросов, составители, редакторы и издатели прикинулись, что ничего об означенном произведении им не известно! Книга была переиздана в 1957 году, и я не берусь судить, от кого исходила инициатива, и какие согласования и разрешения, возможно, на самом высоком партийной уровне, потребовались для публикации. Произошёл ли переворот в исторической науке, особенно в кругах тех многочисленных историков, которые специализировались и кормились на исследовании советского периода, начало которому положила Октябрьская революция? Переворота не случилось. Имена Каменева, Зиновьева, Бухарина и особенно часто имя Троцкого звучали в книге американского журналиста, видевшего и слышавшего всё своими глазами и ушами, но в советских учебниках, справочниках и научных публикациях означенных товарищей и после напечатания «Десяти дней» по-прежнему не упоминали, разве только в резко отрицательном качестве, как противников коммунистической партии, в свете её борьбы с троцкизмом, в связи с *очищением её рядов* от всякого рода *уклонистов*...

В 1987 году я сделал очерк для журнала «Аврора», в котором, совсем не упоминая Троцкого, избегая спорных моментов и не имея цели выступать разоблачителем, я всё же описал шаги, предпринятые для того, чтобы попасть в библиотечный отдел особого хранения. Я воспроизвёл какие-то факты и суждения, прежде всего, предвзятые и ошибочные, из американских печатных изданий, в особом

хранении находившихся. Через некоторое время после публикации на имя главного редактора «Авроры» пришло официальное письмо из Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина с критикой очерка и осуждением автора:

«Подача материала удивляет своей односторонностью и недостаточной компетентностью автора. К. Б. Васильев, корреспондент журнала «Костёр», имел возможность более обстоятельно познакомиться с богатейшими фондами Гос. Публичной библиотеки по данному вопросу, но, несмотря на попытки библиотекаря помочь ему в этом, этой возможностью не воспользовался. В результате из его публикации у несведущего читателя может сложиться впечатление, что впервые книга Д. Рида «10 дней...» увидела свет лишь в 1928 г., у нас в стране не издавалась и никто из советских исследователей творчеством Д. Рида не занимался, а это не так. <...> В фондах ГПБ только на русском языке имеется более 20 изданий книги Рида «10 дней...», не говоря уже об изданиях на языках народов СССР, в том числе и начала 20-х годов <...>. Так что рекомендация В. И. Ленина о широком распространении книги Д. Рида о революционной России выполнена. В этом можно убедиться, познакомившись с выставкой произведений Д. Рида, открытой в ГПБ к 100-летию со дня его рождения. Создаётся впечатление, что автор плывёт на волне шумихи, поднятой в нашей прессе вокруг спецхранов библиотек и не имеющий под собой достаточных оснований, т. к. все издания *особого хранения* всегда были доступны исследователям, в том числе и журналистам вплоть, как видите, до корреспондента журнала «Костёр». Очень жаль, что автор статьи в погоне за сенсационным материалом упустил суть своего исследования, столь важную для советского читателя».

Я подумал тогда: хорошо, что на дворе 1987, а не 1937 год. Сейчас я вижу некоторое сходство оценок: меня уличили в погоне за сенсационным материалом, как некогда Сталин поставил на место американского журналиста, *надкого на сенсацию*.

## 23

В первом русском издании «Десяти дней» помимо предисловий Н. Ленина и Н. Крупской имелась «Краткая биография Д. Рида», составленная А. Р. Вильямсом, где он пишет о своём товарище: «Русская революция сковала его своими чарами и овладела им безраздельно». Так перевёл в 1923 году В. Я. Яроцкий, и, согласитесь, что благозвучнее более известный сегодня перевод С. Г. Займовского: «Русская революция захватила его целиком и безраздельно»...

Стилистические особенности нас сейчас не очень интересуют, но хочется сказать, что для полного и точного знакомства со *смыслом* того, что было написано *самим* Джоном Ридом, следует всё же обращаться к оригиналу. Небольшой пример. В «Примечаниях» автора в конце книги имеется дополнение о винных погромах (wine pogroms): «The Winter Palace cellars, containing rare vintages valued at more than five million dollars, were at first flooded, and then the liquor was removed to Cronstadt and destroyed». Коротко и просто: подвалы Зимнего дворца были затоплены, потом спиртное вывезено в Кронштадт и уничтожено. В переводе А. И. Ромма и длиннее, и с добавкой *отсебятины*: «Погреба Зимнего дворца, где хранилось множество редких вин общей стоимостью свыше 5 миллионов долларов, подверглись той же участи. Сначала

в них просто били и выливали бутылки, а потом отвезли оставшееся в Кронштадт, где бутылки и бочки были разбиты и вылиты». Переводчик переиначил текст, учитывая сведения из каких-то других источников, возможно, более точных; однако, такая *переработка* недопустима, и если у переводчика имеются возражения, он по согласованию с редактором и издателем может сделать ссылку на публикации с иным освещением событий. Хотя, может быть, переделка и была согласована с издателем, и было принято решение *подправить* американского журналиста?

24

Альберт Рис Вильямс писал: «Как живо воскресает в моей памяти моя поездка с Джоном Ридом и Борисом Рейнштейном на Рижский фронт в сентябре 1917 года! Наш автомобиль направлялся к югу, в сторону Вендена, когда германская артиллерия стала засыпать гранатами деревушку на восточной стороне. И эта деревушка вдруг стала для Джона Рида самым интересным местом в мире! Он настоял на том, чтобы мы поехали туда. Мы осторожно ползли вперёд, как вдруг позади нас разорвался огромный снаряд, и участок дороги, который мы только что проехали, взлетел на воздух чёрным фонтаном дыма и пыли. Мы в испуге судорожно ухватились друг за друга, но спустя минуту Джон Рид уже сиял восторгом. По-видимому, какая-то внутренняя потребность его натуры была удовлетворена».

Выделим эту важную деталь: для Джона Рида риск был *внутренней потребностью*. Он ездил в Мексику, где шла вооружённая, беспощадная борьба за власть; во время Первой мировой войны он побывал на передовой как на Западном, так и на Восточном фронте; его арестовывали, привлекали к суду... В 1920 году, имея задание от Коминтерна, он возвращается из Москвы в Америку, зная, что там его заочно приговорили к тюремному сроку; до встречи с американским правосудием он попадает в руки финских властей; Борис Рейнштейн сообщает в предисловии к «Десяти дням», изданным в Москве в 1924 году: «Не успел ещё отчалить в Швецию пароход, на который он нелегально пробрался, как матрос, помогавший ему при отъезде, предал его. За этим следовало трёхмесячное одиночное заключение в финских тюрьмах».

Рискованные предприятия манили его, опасность не пугала, он рвался туда, где идут бои... В ноябре 1917 года выступление московских большевиков привело к большому кровопролитию, чем в Петрограде. Джон Рид ездил в Москву, дабы снова *увидеть всё своими глазами*, и в «Десяти днях» есть патетическое описание похорон *жертв революции* на Красной площади (отметим, что жертв не всех, а только *пролетарских*, тех, кто погиб за *правое дело*): «Один за другим улеглось в землю пятьсот гробов. Уже спускались сумерки, а знамёна всё ещё развевались <...>. Над могилой, на обнажённых сучьях, словно странные разноцветные цветы, висели венки. Две тысячи людей взялись за лопаты и стали засыпать могилу. <...> Пролетарская волна медленно схлынула с Красной площади... И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымалывать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдёшь ни на каком небе, такое царство, за которое сладко умереть...»

В прочитанном отрывке у Ромма ошибка, которой не было у других переводчиков, которую исправили для переиздания в 1957 году: Рид говорил, что за лопаты взялись *две сотни* человек. И вместо слов *сладко умереть* мы сегодня читаем: *за которое умереть — счастье...* Хотя, строго говоря, в подлиннике нет ни про счастье, ни про сладость (всё-таки смерть — событие не такое уж счастливое или сладостное); Рид выразился так: «for which it was a *glory to die*», то есть, *слава* ждёт умерших за светлое царство.

Джона Рида провожали в последний путь примерно так же; нет, с ещё большими почестями, и слова о будущем *светлом царстве* звучали над его могилой у Кремлёвской стены, и друзьям, откликнувшимся на его смерть, вспомнились московские пролетарские похороны, как они описаны в книге «Десять дней, которые потрясли мир». Среди откликнувшихся был и А. Р. Вильямс, и в конец моего очерка сами собой напрашиваются его известные строки:

«Радикальный мир Америки понёс невознаградимую утрату. <...> Русские считают вполне естественным, чем-то само собою разумеющимся, что человек должен умереть за свои убеждения. В этой области не полагается никаких сантиментов. Здесь, в Советской России, тысячи и десятки тысяч погибли за социализм. Но в Америке сравнительно мало было принесено таких жертв. Если угодно, Джон Рид был первым мучеником коммунистической революции, предтечею грядущих тысяч. Внезапный конец его поистине метеороподобной жизни в далёкой блокируемой России явился для американских коммунистов страшным ударом. Одно только утешение осталось его старым друзьям и товарищам: оно заключается в том факте, что Джон Рид лежит в единственном во всем мире месте, где ему хотелось лежать, — на площади у Кремлёвской стены».

Казалось бы, всё этим сказано. По прошествии многих лет, зная, что куда больше, чем *тысячи и десятки тысяч* погибли, иными словами, были убиты *за социализм*, как из его сторонников, так и противников, но *светлое царство* не наступило, — зная это, хочется высказаться по-иному: Джон Рид хотел, чтобы грянула революционная буря, он жаждал бури, он призывал и с восторгом приветствовал её, и трудно винить кого-то, что он умер в 1920 году от тифа, свирепствовавшего тогда в России из-за разрухи, голода и нечистоты, в результате этой самой бури возникших. Джон Рид не был *мучеником*, его не сожгли и не распяли; он не был *жертвой* — его не сгноили в тюрьме и не расстреляли, как например, того же профессора В. Я. Яроцкого, первого переводчика «Десяти дней» на русский язык. Жаль тех, кто хотел жить, а не *умирать за убеждения*, тем более не свои, а чужие, тех, кому эта буря помешала мирно существовать, работать и воспитывать детей, тех, кто стал именно жертвой, кого *принесли в жертву* ради неосуществимых мечтаний.

---

## Литература

*Блок А. А.* Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 6., Л., 1982.

*Гиппиус З. Н.* Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, 1991.

Падение царского режима. Т. 1. Л., 1924.

*Джон Рид.* Десять дней, которые потрясли мир. Пер. В. Я. Яроцкого. Изд. 2. М., 1924.

*Джон Рид.* Десять дней, которые потрясли мир. Пер. Данцигер. М., 1924.